

БИБЛИОТЕКА АЛЬМАНАХА «СЛОВЕСНОСТЬ»

Книжная серия  
«Визитная карточка литератора»

ВЛАДИМИР КОРКУНОВ

## ГЛАЗА ЗВЕРЬКА

*Сборник рассказов*



СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ  
МОСКВА

Вест-Консалтинг  
2013

УДК 821.16  
ББК 84  
К 66

## Выпускается при поддержке Министерства культуры РФ

Вступление *Платон Беседин*  
Художник *Ольга Туркина*  
Обложка *Катя Рубина*

**К 66** Коркунов В. В.  
Глаза зверька//В. В. Коркунов. Рассказы. — М.: Вест-Консалтинг,  
2013. — 56 с.

ISBN 5-86676-014-2

«Глаза зверька» — вторая книга рассказов Владимира Коркунова (первая, «В новый век», увидела свет в 2000 году). Мир, рисуемый автором, в меру раним, в меру ирреален, но в основе — явно выраженный гуманизм, человечность, вера в вечно ускользающий, а потому кажущийся иллюзорным идеал. Романтическая традиция переплетается с постмодерном, фантастика соседствует с реальностью. «Глаза зверька» — это сказки для так и не повзрослевших детей, порой трогательные, порой щемящие, минорные и даже немного флегматичные, но обязательно — искренние.

© Коркунов В., 2013  
© Беседин П., вступление, 2013  
© Туркина О., иллюстрации, 2013  
© Союз литераторов России, 2013  
© «Вест-Консалтинг», 2013

ISBN 5-86676-014-2

# Спасение гудом

О прозе Владимира Коркунова

Владимир Коркунов – человек в литературе известный. Он и добросовестный критик, и талантливый поэт. Однако в прозе Владимир – постоянный автор ведущих «толстых» журналов – новичок: небольшой сборник рассказов «Глаза зверька» – вторая его книга.

Между тем, произведения, вошедшие в неё, по-хорошему «взрослые», состоявшиеся: взвешенные, ладные, с ясным сюжетом и, главное, с несомненными зачатками не только своего авторского стиля, но и особого видения мира.

Новеллы, представленные в сборнике, написаны в разное время и во многом в разной тональности; автор экспериментировал, искал себя. В частности, одноимённый рассказ «Глаза зверька» завершён недавно, в 2012 году. «Свидание» – один из ранних рассказов Владимира – написано в 2006 году. Между двумя этими текстами разница не столько в семь лет, сколько в уровне мастерства. Очевиден профессиональный рост автора, достигнутый благодаря планомерной, кропотливой работе. Владимир Коркунов знает, чего хочет от литературы и отдаёт себе отчёт в том, что придётся дать ей взамен.

Михаил Шолохов как-то, отвечая на вопрос иностранных журналистов, сказал: «Мы пишем по указке наших сердец, а наши сердца принадлежат партии». Владимир Коркунов пишет именно «сердцем», а принадлежит оно литературе. В его прозе есть отголоски той атмосферы, по которой при всех шероховатостях и недостатках улавливаешь присутствие творческого Духа, Того, что дышит, где хочет.

Я неслучайно вспомнил о критической и поэтической ипостасях Владимира Коркунова: возвышенная лирика сочетается в его рассказах с понимаем необходимости использования той или иной методологии, гармонизирует с сугубо прагматичным подходом.

Справедливости ради, работает это не всегда, и подчас баланс «физики и лирики» нарушается: автор, как и многие поэты, начинающие создавать прозу, уходит в «высокий штиль», многословность, понижая степень читательского доверия к тексту. С другой стороны, иногда подобная высокопарность – Коркунов предпочитает использовать сложные, отчасти барочные конструкции – идёт текстам на пользу, рождая меткие, поэтические образы вроде «белья, мелькнувшего чайкой».

Под стать ткани письма метафизика рассказов из сборника «Глаза зверька» – во многом идеалистическая, трепетная, будто стихи

Серебряного века, переданные прозой. В основе её – поиск ответов, которые устами маленькой героини ставит – не читателю, а, прежде всего, себе – автор: «Бабушка, а бывает, что ты живёшь, а внутри тебя чего-то не хватает, неосязаемого, но важного, без чего и ты – не ты?».

Наполнение данной экзистенциальной пустоты и есть доминантная задача по Коркунову. Спасение он ищет и видит в создании своего, обособленного нового прекрасного мира, в основе которого неизменно должно лежать чудо, такое, как, например, великий дар слепого хирурга, спасающего людей вопреки собственному устроению.

Владимир Коркунов, описывая, казалось бы, привычную действительность, влетает в неё не фантастический даже, а магический элемент и тем самым разбивает пресловутую матрицу обыденности. Недаром один из его персонажей часто повторяет слова Иоанна Богослова: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей...»

Это своего рода бунт литератора Коркунова, нелепый, странный, удивительный, но бунт. Против мира как набора догм и условностей. Автор, точно один из его героев, по сути ставит ключевой вопрос: «Знал ли о своём уродстве, чувствовал ли? Или весь мир вокруг него был уродлив?».

Преодолеть это уродство можно, лишь отыскав в калькированной обыденности то строптивное чудо, на основе которого необходимо строить новый идеалистический мир, и в нём, как в родном доме, укрыться и читателю, и, главное, самому автору.

В данном контексте Владимиру Коркунову несомненно близка максима Достоевского о том, что красота спасёт мир. Автор ищет её в повседневности, настойчиво повторяя, что в сердцевине всего кроется спасительное чудо.

*Платон БЕСЕДИН*

# Глаза зверька

*Я догадываюсь, что ты чувствуешь, Фил...  
Д. К. Бангз*

*Эта книга ещё пахнет тобой...*

«Тело человека — инструмент, играть на котором сумеет не каждый, но только игра может открыть истинную сущность, заключённую в человеческой оболочке» — эту подслушанную фразу он повторял каждое утро. Не открывая глаз, тянулся к вешалке, облачался в плащ и выходил из дома в мир звуков, оттенков, отголосков, которые, объединяясь, превращались в живых людей.

Человек, произнёсший эту фразу когда-то — несколько лет назад, перед тем как раствориться среди нелепостей жизни — обладал чуть заметным акцентом, усталыми длинными пальцами и такими же ресницами. Впадины на щеках — будто лёгкие высосали воздух изо рта, а открыть его он не решался. Это было на операционном столе.

Волны пульса накатывали, он замечал, что сердце работает неравномерно — во время одних и тех же действий может колотиться как бешеное, а может замедлить ход, почти остановиться. Но руки не замирали. Достаточно коснуться лежащего на столе тела, и он подушечками пальцев ощущал, где притаился недуг. Скальпель уверенно входил в плоть, отмеряя спасительно-скорбный путь, рассекая то, что совсем недавно казалось единым целым. Проходил час, может, два (редко дольше), и он отступал от стола, мыл руки, выходил из операционной, менял рабочий халат и возвращался в кабинет.

Он был слеп.

Дорога до дома — обязательно пешком — занимала не так много времени. Он изучил маршрут так, что закрути его на любом участке пути, всё равно шагнёт в нужном направлении. Ему была известна каждая неровность асфальта, потом плитки, земли — там была тропинка, по обеим сторонам росли цветы, и в пору цветения он останавливался, вдыхая аромат, наклонялся и проводил рукой по лепесткам, но ни разу не срывал —

достаточно было сорванных жизней, случившихся не по его вине, несколько раз — с его участием.

Виктор, Ольга, Влад, Саша. Виктор, Ольга, Влад, Саша. Виктор, Ольга... (В бесконечность уходящие и возвращающиеся из бесконечности.) Он шёл по тротуарной плитке, слушал гуление голубей, которым девушка с проколотой бровью (впрочем, он не мог этого знать), бросала хлебные комочки. Виктор, Ольга, Влад... Где-то совсем неподалёку сигналил машина и доносится раздражённый крик женщины... Ольга, Влад... Почему невидимая цепь, дающая нам жизнь, может порваться так неожиданно, отчего из этого разрыва вытекает жизнь, такая ощутимая, зримая. Звенья цепи не сложно соединить, но вырвавшуюся жизнь не влить обратно. Человек будет ходить, дышать, любить, не зная, что его части уже нет с ним, что она ушла, утекла, отделилась... Саша. Виктор... Говорят, кровь — красного цвета, а мне кажется, она бесцветна, чёрт возьми, если бы я мог представить цвета, она бесцветная и не может быть иной, она должна быть лишена цвета, я не хочу её трогать, не хочу вдыхать, знать, что она разливается вокруг, тёплая, бьющаяся, обжигающая. Достаточно и этого. Красный — опасность? Или победа? И бояться крови — цвета или поражения? Ольга, Влад, Саша. Виктор...

Сегодня после операции я зашёл в *его* кабинет, непривычно тихо, будто там и не было никого. Но он сидел за столом, выключил лампочку, и это при зашторенных окнах. Я так и не научился называть его Ильёй, даже отцом Илией, да просто — обращаться на «ты»... Иерей, совмещающий службу в церкви и работу хирурга! — Илья Борисович, нам будет не хватать Вас. (Мне будет!) — Не думаю, \*\*\* (тут он назвал моё имя, которое почти сразу после произношения оборачивалось непонятным сцеплением звуков), сложен момент расставания, а через несколько дней кабинет займут другие люди, а о прежнем обитателе забудут. Он помолчал и добавил: — А вот я не забуду. — И я.

Присел рядом, взял его за руку, чувствуя исходящую дрожь — он не любил слово «тремор», сразу как-то уходил в себя, улыбался ни на кого не направленной улыбкой — отгораживался от мира. Не мог делать операции больше года, но не уходил, хорохорился, хотя уже завязал с делом жизни. Никак не мог оставить кабинет и вернуться домой, чтобы больше не выходить оттуда, доживать, как все возвращаются к концу срока, если только есть, куда возвращаться. Я хотел обнять его как сын, выросший рядом, да я и был сыном — с тех самых пор, когда он забрал меня из скопища коридоров и голосов, так и норových поставив подножку и ткнуть. Голосов, вылетающих из тьмы.

— ...словно Господь к тебе привёл... — отец Илия всё чаще обращался к воспоминаниям, они жгли его, но помогали смириться с настоящим. — Не раз вспоминал об этом выборе, глушь, сам знаешь какая, машина с продуктами доедет не в раз, а меня...

— Я бы не выжил там...

— Спрятав лицо в ладонях, плакала медсестра — от мальчишки отказались родители, сказали: урод, да ещё и слепой; а им, в детдоме, куда деваться, подивились, да и оставили. А ты смышлёным рос, заговорил чуть ли не первым...

— Мир был таким — плёнка, пустота, а вокруг не контуры — предметы, которые ощущаешь, стоит поднести руку поближе, только некоторые недвижимы, и в них почти не ощущаешь движение, а другие перемещаются, и внутри у них бурлит, движется что-то, горячее, бесцветное...

— Я говорил, когда в первый раз осмотрел тебя? Они натравили девочку, девчонку, и она вытолкнула тебя из окна, ты стоял у подоконника, первый этаж, ничего страшного, ты и сам порой падал, и нужно было всего-навсего подтолкнуть, а потом сказать, что сам вывалился, я услышал, но разогнать не успел. А потом, на кушетке, я разглядывал тебя, слушал обрывки фраз, которые ты пытался произнести. Или это был бред, но вот ты поднял руку, потянулся к моей ноге, отчётливо произнес: косточка. И коснулся места, где был перелом... Как смог понять, как почувствовал? А потом вспомнил, сестра говорила: он странный, пугает меня...

— От этого места на ноге нити отходили, вырывались за ногу и вокруг, — произнёс ученик, — мне сложно объяснить, да и тогда не понимал, просто чувствовал, что есть разрыв, внешне и не заметно, а не хватает чего-то...

— Я наблюдал за тобой, за словами, жестами, поведением. Это было нетрудно, ты редко куда-то ходил, сидел, уставившись в одну точку, или стоял у окна, что-то странное было в твоём взгляде, беззащитное — нет, скорее, настороженное. И постоянно произносил обрывки фраз, незаконченных...

— Теперь я держу их внутри...

— Я читал по вечерам Библию — только она и помогала после аварии, когда я решил выбрать эту глушь... — Он помолчал. — Я читал Библию и вспоминал тебя. Я думал, почему разумное существо названо тварью Божией? Ибо сказано было ангелам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари...» И я думал, кто есть тварь? Человек, животное, Ангел? Я или этот мальчишка? Или он — Ангел Господень, который живёт с нами, принимает муки, но и сам готов творить чудеса и нести Откровение? Прости, много лишних мыслей заполоняли меня, я искал путь, опору, которая поможет в пути. И всё точнее

ощущал, что этот ребёнок — и есть моя опора. Я молил Господа о прощении за недостойные мысли, я принимал предназначение со смирением и просил прощения у тебя, бессловесно, глядя в ту же даль, что и ты...

— Я чувствовал это, но не мог понять — за что?

Но вместо ответа услышал:

— А потом заметил, что ты постиг суть человеческого тела, не задумываясь, указывал на места, где скрывался недуг, чувствовал эти девиации... Но это внушало детям страх, тебя называли прокажённым — что они знали о прокаже!

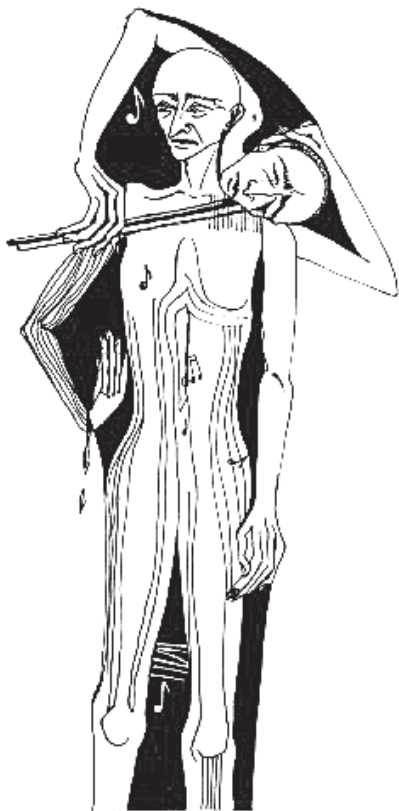
— Вы стали моим отцом. — Слепой положил руку на плечо старого хирурга и без смущения добавил: — И матью.

— Вначале мне не давали права на усыновление, но я знал одно: впереди у тебя или большое будущее, или мучительная гибель...

«Или и то и другое одновременно», — подумал ученик, но промолчал.

Они вспоминали жизнь в оскудевшем доме молодого диакона, литургии, на которые отец Илия брал обрётённого сына, прихожан, заходивших в дом священника-врача, доверяя недуги слепому юноше. Как часто они содрогались, видя уродливое тело и глуповатую улыбку подростка, страшились перекошенных плеч и открыто-невидящих глаз. Но знали одно — приёмыш священника чует болезнь, и пусть не может исцелить, поможет отцу, который молитвой и знаниями изгонит её. Только одна бабка-прихожанка при виде него крестилась и прятала лицо — ей была видна его жизнь и суть.

Но кто из них знал, что все болезни, эти боли людские, ниточки, мостики сочащейся из человека жизни, оставляли следы в этом существе,





вырастающем в человека человекке, а значит — скрывающем сущность, подлаживающемся под мир. Со временем он научился контролировать себя, меньше кривить лицо, держать плечи ровно (что получалось не всегда) и стал походить на нескладного, нелепого юношу — *уже* не урода. Уже. Знал ли о своём уродстве, чувствовал ли? Или весь мир вокруг него был уродлив?

Ещё какое-то время они — учитель и ученик, отец и сын — предавались воспоминаниям, а потом дверь кабинета открылась, и комната наполнилась радостными и грустными, взволнованными и безразличными голосами. Коллеги пришли попрощаться с отцом Илией, Ильёй Борисовичем, их коллегой, другом. И не было в этом прощании ничего ни напыщенного, ни грустно-тревожного. Отец Илия улыбался, шутил, вспоминал, как встарь был центром компании — а значит, и центром этой небольшой вселенной — только руки всё чаще подозрительно дрожали и голова, когда терялся контроль над телом, стремилась прижаться к груди...

А теперь его приёмный сын, слепой хирург, шёл домой по июньской улице, вдыхал запахи окружающего мира и очнувшихся от зимнего забытья летних цветов...

Ольга, Влад, Саша. Как я хочу произнести и твоё имя, но оно не произносимо, эта заноза внутри, демон, не оставшийся ни здесь, ни там. *Ты бы не понял, почему я не могу жить рядом, сердце твоё, опалённое болезнью, не выдержало бы, а где один лоскут отслоится — там и все.* Виктор... Виктор, прости меня, за ту ниточку жизни, что я не смог удержать, не сумел вернуть обратно, захлебнулся. Прости, что не отвечал на усмешки и ухмылки, упорно ходил в медицинский, изучил человеческое тело как врач, а душу вернуть не мог. Или жизнь? Я никогда не видел её, душу, но с каждой болезнью, с каждой каплей крови чувствовал нити жизни... Влад... Влад, и ты прости, ты мне сказал, что тело — инструмент, а для меня оно было предметом, обезличенным, обездуховленным — или душа всё же есть? — сколько отец обошёл коридоров и дверей, сколько выслушал, прежде чем мне позволили работать с мёртвой плотью. И в ней была жизнь, обрывки, отголоски, она теплилась, хотя тело было мертво. Разве душа упорхнула из тела, а жизнь — осталась? Или это остатки души? Я спрашивал у отца... Ольга, Влад... Отец говорил, что у души три врага — плоть, дьявол и сущее. Он читал Иоанна: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Получается, в похоти скрыты и плоть, и дьявол, и мир. А нити жизни — позволяют плоти передвигаться и погрязать во

грехе. Или спастись? Так нет ли незримой битвы жизни и души, где я — на стороне жизни? Виктор, Ольга, Влад, Саша. Виктор, Ольга, Влад, Саша. Простите меня, простите... прости, отец...

Прохожие оборачивались вслед кривоватому, словно немного парализованному, немного горбатому старику, шаркающему мимо. Он не отвечал на приветствия случайно встреченных пациентов; шёл, и губы его, казалось, не останавливаясь, играли свою мелодию — шёпотов и невысказанных мыслей. Люди знали, не могли не знать — сарафанное радио работает лучше любых газет — что этот человек феномен, незрячий хирург, спасший множество жизней. Что он работает, ограничиваясь незначительной стайкой слов, руками определяет очаг болезни, что скальпель входит ровно и уверенно, и что он... не допускает ошибок... Почти. Никто не знал, что старику нет и сорока лет.

Чуть позже, когда ритуал возвращения домой был соблюден, тишину летнего вечера разрезал дверной звонок, разогнавший подступивших было демонов, вернее, демона, никак не хотевшего вставать в ряд имён. Старый друг — единственный, практически плоть и кровь — был верен себе и раздвигал пространство одиночества, разбавляя его, часто забываясь и говоря сам с собой, но у него даже тогда было два благодарных слушателя (впрочем, не в этот день). Игорь, Игорёк, человек, принявший его мир и полюбивший это странное существо, бросил на спинку кресла джинсовую куртку, подкинул в воздух вопрос: «Как всегда?» и, получив в ответ утвердительное молчание, отправился на кухню. Заскворчал чайник, во френч-пресс упала порция собранных хирургом трав — как он только мог их засушить и смешать? — и вскоре в квартире установился хрупкий мир.

За окном начинало темнеть, грузное к вечеру июньское солнце терялось в кронах деревьев и всё явственнее клонилось к земле, а в комнате журчал разговор, разбавляемый чаепитием...

*...в сущности мечта? Ты её отстаиваешь, признаёшь право на существование, или она оправдывает твою жизнь? Вот если представить...*

Так сказать или нет? Не упускаю ли время, не подпускаю ли слишком близко? Потерять ещё и его было бы чересчур. Я жалею себя, боюсь остаться без друга, но разве не учили, что дружба, настоящая дружба, — это когда два человека обладают одним телом, что их мысли — как в сообщающихся сосудах, и слова — лишь от неумения читать другого, чувствовать. И если бы не могли говорить, научились бы понимать без слов — как дети учатся азбуке, как взрослые — чужим языкам. Это тоже

чужой язык или, напротив, больше свой, ближе. Как разглядеть то, что перед глазами? Как ощутить это? Отойти? Но, отходя, ты не видишь себя с расстояния или со стороны, отступаешь — дальше, в дебри ненужных познаний, хотя, в первую голову, познать бы себя...

*...стихи, картины... Я думал, в этом призвание. Создавать полотна и описывать их, искать изнанку предмета...*

Неужели, он чувствует меня, ход мысли, но, как слепой котёнок, не может понять — это инстинкт или умение, знание?

— Почитай *свои* стихи.

— Зачем? Они не перешли со мной в этот день, они — в прошлом.

— И ты решил скрыться за чужими стихами и чужими картинами?

— Но я не смог бы сказать лучше...

— Ты смог бы видеть их внутреннюю сторону...

И всё-таки он отказался от мечты, оборвал себя, остановил. И вот эта его сущность, которая хотела заглянуть за оболочку слов, осталась на полпути... Заменой стало чужое, что могло пробудить в нём эту волю поиска, дать ключ... Кажется, он стал читать... Это и в самом деле — гадко, но разве ребёнок способен возделывать сад с первого раза и получить богатый урожай?

*...и волк вонзает когти в плоть, почти уверяясь (разуверяясь?), что сердце там своё найдёт и прекратит быть зверем...*

Художник, выбросивший кисти — жалок. Художник, который не может творить — беден. Они не могут быть творцами. Художник, отступивший перед обстоятельствами, которые сильнее его, не перестанет быть художником.

*...но колокольным гулом, скитом правды, ты отбывала день у алтаря, уродство пряча, не имея права свой образ даже зеркалам поверять...*

Она приходила ко мне сегодня — не как всегда, перед сном, а утром, по пути в больницу. Шла следом — шаг в шаг. Останавливалась, если останавливался я, ускорялась, если я ускорялся. Почему она нарушает правила? И были ли они вовсе...

— Читай, читай! Ты понимаешь, зачем?

— Не совсем...

— Так читай!

Мне кажется, она привязана ко мне, что я по ошибке вобрал в себя часть её жизни, естества, что я виновен в том, что...

*...она целовала пролетающих мух...*

Господи, они сегодня опять произнесли моё имя, а ведь знают, что его нельзя произносить, и даже отец смирился. Почти... Виктор...

*...язык теряет невинность, когда попадает в рот другому...*

Почему вечера становятся длиннее? И путь из больницы к дому? И новые утра, зачем они приходят? Я же столько раз твердил... Саша... что не хочу просыпаться...

*...это я написал после того, как увидел сон о девушке, которую вскоре встретил...*

Стоп. Стоп. Стоп. Хватит. Игорю ни к чему об этом знать. Не хватало ещё потерять и последнего друга...

— Тот сон, о котором ты рассказывал в прошлый раз?

— О девочке, танцовщице. Она жила на другом конце города, и чтобы добраться до зала, — он уходил в себя и говорил, воскрешая когда-то увиденное, — родители заказывали такси. Пять дней в неделю. В одно и то же время. И таксист, который вёз её на занятия, а вечером возвращал домой, однажды коснулся её локтя своим. Случайно, переключая передачу. Но касание было таким, что и девочка, и таксист, внезапно что-то почувствовав, на мгновение пересеклись взглядами. Никто ничего не сказал. Таксист довёз девочку до танцевальной школы, а вечером вернул родителям. Но каждый день во время пути они, словно случайно, касались локтями друг друга. Никто не знал, когда это произойдёт, на пути туда или обратно, но это случалось всякий раз. Дурацкий сон, глупый, ненормальный. А я проснулся в поту и понял, что безумно ревную к таксисту, потому что влюбился в эту девочку, увидев её во сне. А вскоре встретился с ней. Это так необычно — познакомиться с человеком, которого уже любишь! Ей тогда было семнадцать, мне — двадцать семь. Она была никакой не танцовщицей, училась в академии, а вечерами забиралась на чердак родительского дома — родителей часто не было, — читала книги и ловила цвета заката. Она притаскивала кучу одеял и подушек и устраивала этакий богемный уголок. А иногда подходила к чердачному окну и что-то писала в блокноте...

— Так ты был там? — прервал монолог \*\*\*.

— Да, я был с ней, но не касался ни разу. Я читал ей стихи, мы вместе рисовали картины, и получалась смесь из абстрактного и земного. То есть я рисовал абстракции, а она наполняла их жизнью. Она знала, что хочет от жизни, и потому она — жизнь — в её полотнах была. А я — не знал, у меня была только мечта, и она заставляла меня вырисовывать ломаные линии, головы, фрагменты животных и силуэты зданий, отражающихся в небе...

— Но ведь ты её любил...



— Она была для меня чем-то большим, чем женщина. За время наших встреч я заводил романы не с одной, — это несложно... А она... была вдохновением, воздушным и нереальным. И я понимал: стоит коснуться её, как она растворится, растает, изойдёт в воздух...

— Почему вы расстались?

— Однажды я заметил: что-то изменилось в наших картинах. Мои линии стали приземлённее, логичнее, узнаваемее, а её абстрактнее, ломаннее, безумнее... Я удивился этому, но промолчал. А вскоре узнал, что она бросила учёбу, заметил, что она всё чаще отходит к окну. «Лиза, — сказал я, ты ничего не хочешь мне сказать?» Она впервые повернулась ко мне, в глазах слёзы: «Ты вряд ли поймёшь...» А потом подошла и... поцеловала. Я отлетел в чердачный угол, сердце бухало, пот щипал глаза... «Ты...» — только и смог сказать я. «Я не хочу, чтобы ты приходил, — ответила она. — Пожалуйста, уходи...» И когда отыскал куртку, надел кроссовки и подошёл к чердачной двери, догнала, положила руку на плечо: «Постой. Вот. Держи. — Я почувствовал в руке блокнот. — И... хочу, чтобы ты знал, я полюбила тебя ещё до знакомства, ты приснился мне, ты был птицей с человеческими глазами — как у зверька: внимательные, но... беззащитные... Ты летел в моём сне и смотрел на меня, летел и смотрел... И когда я просыпалась, перед моими глазами ещё оставался твой взгляд... Он, беззащитный сам, хранил меня всё это время. И когда я увидела тебя на улице, вернее, не тебя, когда увидела твои глаза, время остановилось... Ты и впрямь был беззащитен, но этой беззащитностью, как птица из сна, защищал

и меня. А теперь этого нет в твоём взгляде. И потому ты должен уйти...» И я вышел в лоно ночи, и шёл, не понимая куда; люди, машины, вывески сошлись в единый калейдоскоп, мозаику; я знал — она права. Организм бунтовал, кажется, меня вырвало — странно, я ничего не ел в этот день, и так и слонялся до утра, заходил в какие-то бары, надирался рюмка за рюмкой, и вновь шёл, тасил тело, пытаюсь забыть себя, её и всё, что окружало и связывало с реальностью. Очнулся вечером следующего дня в своей постели, в грязной, противно пахнущей одежде — не помню, как вернулся... И ничего не понимал, пока не нашёл во внутреннем кармане блокнот — с записями, обрывками мыслей, пропастью, разверзающейся возле этой девушки, Лизы. И этой пропастью был я. Она день за днём отмечала, что менялось во мне. И день за днём в блокноте — дневнике — появлялись строчки, что из моих глаз исчезает страх. То, что он перетекает в её глаза, я понял позже, когда вспоминал последнюю встречу, и ещё несколько — в самом конце, но тогда я не придавал этому значения... Приняв душ и наскоро собравшись, я, перешагнув через её просьбу, поехал к ней. Мне казалось, случилось что-то или странное или страшное, скорее, странное, потому что страха я не испытывал, мне больше всего на свете хотелось повторить ей те же слова, что она сказала вчера, что я полюбил её до нашей встречи, что увидел во сне, что... Потом мне стало казаться, что она и так об этом знала, и мои слова были, в сущности, не нужны. Потом... Я больше никогда не видел её — на полпути остановился и вернулся домой... Как-то услышал, что она уехала из города... Узнал, что она попала в какой-то переплёт... А тогда... Ты знаешь, почему я остановился?

— Почему?

— Я разлюбил её. Мне больше не хотелось рисовать, не хотелось слагать мечты. Словно вместе со страхом, чуткостью и незащищённостью, перетекшими из моих глаз в её, ушло и что-то ещё — мечта... Потом я понял — так и было. Не случайно в наших рисунках мы постепенно менялись ролями — я становился ею, она мною. Так, может, уехала из города и попала в передрыгу не она, а я, а остался — не я, а она? Я часто задавал себе этот вопрос и никак не мог найти ответа. Часто разглядывал свои глаза, но ничего птичьего и незащитного в них не видел...

Он замолчал, а я слушал дыхание, сбивчивое. Говорят, если долго что-то держать в себе, от этого можно задохнуться...

Игорь потом читал стихи, входя во вкус, вместе со мной смеялся над юношескими попытками осознать мир, удивлялся, что эти безыскусные строки при всей простоте и тривиальности всё ещё близки ему. Открывал себя заново. Или вспоминал. Или возвращался к отвергнутому. Но вот — и в этом я уверен — он

больше никогда не сможет писать новые. Стихи. А не рифмованную чушь. Но что-то мне подсказывало, что он рано забросил кисть.

В этот вечер я был почти готов рассказать ему про своего демона... но счёл лучшим дать возможность выговориться, сбросить замолчанный груз с плеч. Я расскажу ему в следующий раз. Если успею.

Но и при новой встрече слепой хирург промолчал, хотя демон приходил всё чаще. Просто вечер был удивительно хорош, беседа лилась изобильно, и не хотелось портить её такими признаниями. И через вечер, и ещё через один...

Это случилось на следующий день после того, как демон заговорил.

Операционная опустела, это был очередной маленький триумф, очередная спасённая жизнь, и \*\*\* не торопился уходить. Была ещё одна причина. Накануне демон — призрак — явился к нему в кабинете. \*\*\* сидел, похолодев, боясь двинуться с места, а призрак, осмелев, наполнил комнату цветами и красками — \*\*\*, внезапно прозрев, увидел рабочий стол, шкаф с картотекой, стулья, вешалку у двери и календарь, непонятно зачем подаренный на Новый год... И... себя самого... Только не во плоти, а сложенного из тысяч ниточек, сплетённых, пульсирующих жизнью (чужой?). Призрак то приближался, то удалялся, указывал на ниточки мерцающей рукой, но лицо было отсутствующим, ничего не выражающим. Это был призрак женщины. А потом тьма навалилась вновь.

Он боялся возвращаться в кабинет, страшился видеть себя — не тем уродцем, о котором говорили, а сосудом с нитями жизни, возможно, взятых и спасённых им, возможно... Знал, что призрак не остановится, придёт за ним и сюда, в эту пока уютную и пульсирующую — он ощущал это — победой операционную. Он задерживался, но не собирался отступать, — ждал встречи. И знал, что нужно сделать. Сердце совершило очередной вираж. И билось медленно-медленно, точно прислушиваясь к отзвукам собственного биения. Если бы в глазах отражалось то, что происходит в душе, случайный встречный был бы поражён — плёнка покрыла их, туман перекатывался волокнами, ускоряясь, танцуя, безумствуя. А ещё — в них едва заметным пунктиром летела птица.

Телефонных гудков становилось всё больше, они накапливались, как кольца у дерева. И если раньше приёмный отец поднимал трубку с первого гудка, теперь приходилось ждать всё дольше. Уйдя на пенсию, он будто забился в нору, начал

растворяться в мире старости и одиночества. Но голос оставался бодрым:

— Слушаю Вас!

— Здравствуйте, отец. Ещё одна победа на нашем счету.

Было слышно (или это только ему было слышно?), как человек на том конце провода улыбнулся.

— Молодец, сынок! Ещё одна душа спасена... — он помолчал, — тобой. Что-то случилось?

— Не знаю, как сказать... Не хочется ворошить прошлое.

Тишина, воцарившаяся по ту сторону линии, казалось, прорывалась и в больничный гомон. Впрочем, \*\*\* выбрал аппарат, находящийся вдали от регистратуры и прочих шумных мест.

— Я хочу рассказать Вам, отец, об Анне.

— Кто это?

— Одна из моих пациенток. Выпрыгнувшая из окна. Помните? Её привезли и хотели гипсовать, но я не дал этого сделать...

Это было четыре года назад. Пустынным вечером, когда больница замерла до шумно-рваного утра, «скорая» доставила пациентку. Девушка была в сознании, но глаза стекленели. «Аня, Аня, Анечка, — приговаривал медбрат. — Не уходи, останься...» И она оставалась, хотя было видно, что борьба со смертью шла не в её пользу.

Дежурный врач осмотрел переломанное тело и отправил в «травму» — делать операцию, ему казалось, было поздно, и те мгновения, которые несчастная — прыгнувшая из окна в этот разграничивающий жизнь и смерть вечер — ещё цеплялась за эту сторону жизни и смотрела ему в глаза (ему и впрямь казалось, что цепляется), были для неё последними... «Я не думала... Не знала, что это так...» — прошептала она несколько иное, нежели приписывают подобным ей, прыгнувшим. «Мама, папа — простите», «Я не хотела», «Как больно» — обычно такими фразами-лозунгами (моральными и антиморальными одновременно) озаглавливали статьи о самоубийцах газетчики, мало представляя, что на самом деле вырывается из воспалённого и затухающего сознания... Годы работы заставляли отрешаться от чужих горестей и бед, воспринимать *поступающих* как тела, организмы, а не — живых людей. «Старайся отгораживаться от этого, иначе сойдёшь с ума», — напутствовали его, и он был верен этому принципу.

В «травме», сбросив с глаз подступившие слезы, понимая, что надо *хоть что-то делать*, медсёстры готовили гипс, понимая, что он всего лишь — оправдание беспомощности...

И тут в отделение с возгласом — дикий, каркающий крик — «Подождите!» ворвался \*\*\*. Явственно ощущаемый шлейф



безумия, искажившего черты лица; струйка слюны, предательски тянущаяся от приоткрытой губы... Отшатнувшиеся медсёстры... «Её можно спасти. В реанимацию».

Я почувствовал её, как только она оказалась в прямоугольнике больницы. Моё первое и последнее ночное дежурство, вынужденная замена. И такой сгусток энергии, такая сила, борьба тянулись за этим телом, распространялись по зданию. Я был ошеломлён — никогда прежде не мог на расстоянии почувствовать пациента, ощутить переломы рук и ног, мелких костей... Господи, их — десятки, и как она ещё жива, за какую соломинку держится?

Врач приёмного покоя покачал головой, и это я безумец? Пойдите, где она? В «травму», быстрее. Если прикоснутся, скуют бездушными (опять что-то о душе, но не до неё сейчас) объёмами гипса, будет поздно. Лестница, пролёт, ещё один, ещё, отчего-то я не люблю лифты, не переносу, они сдавливают, придушивают... Путь по коридору — слышу голоса, чувствую жизнь, прерывающуюся, но какую же сильную! Распахиваю дверь, понимаю, что отстают, что не успели свершить непоправимое. «Её ещё можно спасти. В реанимацию». Слушают, не могут не слушать...

Игорь сидел, вжавшись в кресло, держа кружку с остывшим чаем — это же \*\*\* рассказывал и другу, но позже, вечером, после того как поведал приёмному отцу (они помолчали ещё, каждый о своём, и \*\*\* положил трубку)...

— Это была роковая ошибка, я видел нити, видел их переплетение, я соединял их, возвращая жизнь, забирая у смерти. И только одно неточное движение... на секунду задержал руку, вернулся в дурливое детство и вспомнил себя — ведь меня, по сути, тоже выбросили из окна, и я так же — только духовно и уродством от рождения — был изломан, спасся благодаря чуду, так вот, только одна мысль о себе, апофеоз эгоизма, заставили дрогнуть руку, и... Это сердце не удалось завести. «Сестра» — так я назвал эту женщину. Сестра, которую не спас, которую убил сам. В голову, потом уже, пришла догадка, что я намеренно сделал роковой надрез, ведь существ, подобных мне, больше в этом мире быть не должно... Но не понимал, что из единицы не она стала минус одной, это я мигрировал в минус одного...

— Как это?

— Не знаю. Словно перешёл какую-то грань. Между жизнью и смертью. Грань, о которой прекрасно знал, вытаскивая с противоположной стороны. Но раньше и мысли не возникало ступить туда, а сейчас показалось, что я оказался именно там,

на другой стороне. И вроде бы живой, вроде бы в этом мире, а, одновременно, и в том...

*(Когда он рассказывал об этом приёмному отцу, было слышно, как тот вздохнул и перекрестился.)*

...большой частью, кажется, в том...

— А сейчас?

— И сейчас... Там же... Я подходил к этой границе, дотрагивался до невидимой плёнки, но точно знал, что она разделяет миры — тот и этот, или как там у вас говорят, был жив и мёртв одновременно. Сейчас мне кажется, это душа у меня умерла в ту минуту, а тело продолжило жить. И тело любило этот мир, помнишь: «Не любите мира, ни того, что в мире...» Евангелие от Иоанна. Словно разрубило тогда мои тело и дух, точнее, тело и сущее его победили и отдали кому-то, отбросили туда, откуда нет возврата. А после я понял, что мой дух стал принадлежать Анне, сестре наречённой, моему демону, призраку, чьё сердце я не сумел запустить...

— Ты серьёзно?

— Раньше мне казалось, что это просто обида — в первую очередь, на себя. А потом... Потом она стала приходить ко мне. Вечерами. Приходить... и смотреть в упор. Я сходил с ума, пытался скрыться, сбежать, но она ходила за мной, преследуя неотступно, а потом пропадала, будто и не было вовсе. Тогда я покинул отцовский дом и перебрался сюда, я не хотел ранить его, и ведь как объяснить, что меня преследует не спасённая мной — из-за моей ошибки — пациентка? Я ходил в церковь, причащался, но то ли Бог отвернулся, то ли это было испытанием — ничего не изменилось. Призрак Анны следовал за мной. Вначале она приходила, когда я был один — вечерами. А затем... Стала появляться по утрам. Молчала и следовала за мной, а потом начала кружить, раскрашивать мир вокруг меня. Только я не мог понять — иллюзия это или мир действительно такой. А потом... она стала являться по несколько раз на дню, и разделяла не только одиночество... Вчера... она заговорила со мной, спросила, чего я так долго ждал... А сейчас... сейчас она здесь, сама-третья с нами...

После этих слов — как я был прав! — Игорь поднялся, поставил остывший чай на пол у кресла и, не говоря ни слова, вышел. Горькие — опустошающие — мысли роились в его голове, постепенно вытесняя строки стиха, который он хотел прочесть, я смог ощутить только название, и понимал, что не стал бы слушать, попросил бы замолчать... Но, может, так и нужно, может быть, Игорь сделал правильный выбор, не оставшись со мной, не став ещё одной не сложившейся — а наша дружба была хрупкой, это было *такое* понимание, что рухнуло бы, стоило

ему до конца излить, изложить себя, и я видел, дно близко — моего истерзанного мирка, не перешагнув, — а если бы остался, то перешагнул бы — через эту плёнку, туда, куда хотела утащить не только дух, теперь я понял — *жизнь*, моя наречённая сестра, мой демон, мстительница и любовница.

Как только шаги Игоря стихли, а я чувствовал их ещё квартала два — в последние дни мои ощущения обрели невиданную прежде силу — как в ту ночь, когда Анну доставили в отделение, — я остался один на один с нею.

Она вышла из-за кресла, где совсем недавно сидел мой уже бывший друг.

— Больше никого не осталось, — сказала она. — Мы вдвоём. Я и мой убийца.

— Я хотел спасти тебя, быть спасителем, — прохрипел я...

— Ты оказался таким же, как все они, от кого я уходила, слишком эгоистом, слишком человеком. Я почувствовала тебя, и ждала, старалась жить чуть дольше, потому что — наивная! — поверила, что в тебе смогу обрести родственную душу, что ты — и только ты — сможешь меня понять. А ты — в самый ответственный момент — отвлёкся на себя, на несправедливую — ха-ха, ты и несправедливость — жизнь и никчёмную судьбу. Ты ведь и сам не понимаешь, что за существо. Ты — урод, оказавшийся среди венцов творения. Или совершенство среди уродов?

— Так в этом и есть моя вина?

— Твоя беда и крест твой.

— Кто же ты на самом деле?

— Твоя наречённая сестра, твоя родная сестра, твоя мать, твоя любовница, твоё проклятие и спасение. И видишь, как ты этим распорядился?.. Вместо того чтобы спасти меня и спастись самому, начал жалеть себя! И чем ты отличаешься от них, этих венцов творения, тугоголовых ублюдков?

— Тогда почему ты здесь и почему преследовала и сводила с ума?..

— Как же ты глуп... Я не преследовала тебя, потому что я — это ты. Потому что ты сам меня придумал, свой карающий меч, расплату за Виктора, Ольгу, Влада и Сашу, которых не смог спасти. За свои ошибки. Ты призывал меня, отдавался моей власти. И пытался оправдаться сумасшествием, стал нелюдем, бросил приёмного отца, отлучил от себя всех, кому был дорог, кроме этого не то художника, не то поэта, который сам — вот ирония — бросил тебя. Эгоист! Но при этом... ты был гением, спасал, клал себя на этот алтарь и приносил в жертву. А из сердца твоего текла бесцветная кровь — потому ты никак не мог примириться, что у неё есть цвет. Ты не должен был переступить порог детдома обратно, выйти оттуда — ты

должен был погибнуть... Это случайность, но благодаря ей могла спастись и я... Скажи, что бы изменилось, если бы ты спас тех четверых?

— Я... мог их спасти...

— Не говори ерунды. Ты так мало знал тогда, делал первые шаги, не было бы их, не было бы и сотен спасённых. Понимаешь?

Он молчал.

— И тогда ты придумал меня. Женщину, за которую схлестнулся со смертью, и которую сам и убил. В тот миг — придуманный, омрачённый ошибкой — ты был смертью. И простить себе это не смог...

— Но почему я не помню об этом?

— Тогда бы ты не поверил в меня, я бы не стала твоим демоном и твоей любовью, проклятьем и страстью... А теперь иди ко мне.

Мир вокруг него обрёл краски, он увидел себя въяве — мужчину сорока лет, не старика и не уродца — каким он представлялся себе. Рядом с ним стояла девушка, она улыбалась, протягивала руки и приглашала куда-то, звала за собой... Он подошёл, принял руку, и они отправились вслед за догорающими лучами тяжёлого июньского солнца... Стояли самые длинные летние дни...

Тело слепого хирурга обнаружили на следующий день. В больнице разволновались, стоило ему, донельзя пунктуальному, не явиться к началу рабочего дня.

Когда его нашли, он лежал на кухонном полу, такой странный, уродливо-прекрасный, с перекошенным лицом, на котором... застыла улыбка. Коллеги, скорбя, всё же не могли отделаться от удивления — не помнили его улыбающимся, словно держал что-то на душе или что-то давило на душу, выдавливая улыбку. Отец Илия отслужил заупокойную, а Игорь... Игорь так и не узнал, что стало с его безумным другом. Ему казалось, что он вновь обрёл нечто, потерянное давным-давно (истинную сущность?), и, взяв лишь документы и деньги, оставил свой дом, отправившись куда глаза глядят. Ах да, ещё он захватил холст, на котором нелепыми мазками было намалёвано чёрт-те что.

2012

## Следы на песке

А потом я понял, что этот день едва не упорхнул в открытую форточку. Задержался у окна и начал таять. А январская улица заглядывала внутрь и не могла понять, она ли отражается в глазах или я вижу растворяющиеся эпизоды из твоего рассказа о маленькой девочке. Тебя — как и её — манит вода; будто ты уже в ней, пытаешься добраться до берега, но — никак; гребёшь, но становишься дальше от берега, на котором стоишь ты же — маленькая девочка, и задумчиво смотришь на человеческие следы...

\* \* \*

Пару дней назад наступил Новый год. На улицах, едва присыпанных снегом, тут и там — обрывки петард и хлопушек. Всполохи отдалённых фейерверков изредка проникают в комнату. Мы расположились на пледе, ты подогнула ноги и уставилась в карты — сыграть несколько партий стало традицией, но с каждой раздачей мы всё больше уходим в разговоры. Кажется, карты нужны, чтобы завязать разговор, без них ничего бы и не было, мы бы посидели, выпили чаю, поздравили друг друга и разошлись.

После очередного тоста (карты отложены в сторону, партия не закончилась — не загаданное желание распалось в полумраке) ты сказала:

— Я хочу, чтобы ты написал рассказ. Про маленькую девочку. Представь, — ты сделала жест, чтобы я закрыл глаза, — берег небольшой реки, прибрежную воду опутывают водоросли, но можно купаться; дно в мелких камушках; когда заходишь в реку, они впиваются в ступни, а на песке оставленный ступнёй мальчика след. Девочка смотрит на него, аккуратно ставит ногу в середину следа — она на целых два размера меньше! — а значит, он ни за что её не полюбит! Этот мальчик ей нравится. Но она боится, что он посмеётся над ней, а потому лишь наблюдает за ним. Но он вряд ли её заметит — она же маленькая и ему нет до неё никакого дела. Напишешь? Это важно.

— Напишу, — отвечаю, пытаюсь зафиксировать рассказанное в памяти, хотя знаю, что наутро оно может выветриться без следа. — Почему для тебя это важно?

— Потому что эта девочка — я.

\* \* \*

Солнце размаривало лежащие на покрывалах тела, у кромки воды плескалась ребятня, а мальчишки постарше устроили заплыв на скорость — туда, где только что пронёсся катер спасательной станции.

Девочка стояла на берегу и смотрела на след, оставленный ногой мальчика. Он был одного роста с нею, и в компании мальчишек едва ли не на полголовы выше сверстников. Задорно шутил, отвесил одному подзатыльник, резво понёсся к воде, рукой, словно веером, провёл по разлетевшейся брызгами глади; поплыл, то пропадая, то появляясь, обернулся, помахал рукой топчущимся по щиколотку товарищам, что-то крикнул и устремился дальше, к накатывающим после катера волнам.

Девочка постояла возле следа, улыбнулась и поспешила к воде — она знала, что обязательно вырастет и мальчик полюбит её. Разве её можно не полюбить?

Вечером, когда солнце растворилось за горизонтом, а ночь ещё не смекнула, что к чему, она — с разрешения бабушки — вернулась сюда. Людей уже не было, и только ветер, спящий днём под корягами возле склона, выбрался и ворошил её русые волосы. Она нашла место, возле которого стояла днём; следа больше не было, множество других ног — человеческих и птичьих — избороздили берег. Природа готовилась к ночному покою, вздыхая шорохами ветра и воды. И только девочка — тоненькая спичечка в льняном платьице — переступала ногами на самой границе воды и песка.

Вдруг там, где кипучая трава разрослась и острыми стеблями касалась реки, вода вспенилась и пошла кругами. В тёмной глубине что-то было. Вот блеснула рыба чешуя, вот — взметнулась грива волос, и перед удивлённым ребёнком предстала русалка. Она зябко ежилась, тело, покрытое водорослями, блестело, хвост переливался то перламутром, то изумрудом.

— Который вечер ты приходишь сюда, — гортанный и чуть хриловатый голос заставил девочку вздрогнуть.

Странно, ей говорили, что у русалок ангельский голос. Эта была явно исключением. Или сказки вралаи?

Водяница продолжала:

— Вижу, ты ищешь будущее, но боишься потерять настоящее. Подойди ко мне.

Девочка приблизилась. Русалка запустила руку в волосы и достала цветок клевера, свежий и дрожащий на ветру. Удивительно, он не был мокрым, казалось, его только сорвали с луга.

— Возьми его, — сказала русалка. — И подари тому, кто сможет тебя понять и стать твоим будущим. Только не ошибись. Если выберешь не того человека, часть твоей души станет моей.

— А как я пойму, что не ошиблась? — Девочка совсем не удивилась появлению существа. В её фантазиях происходили и более чудесные вещи.

— Это цветок из сердцевины твоей души, девочка, — рассмеялась русалка, потешаясь над ней. — Человек, которому ты его подаришь, должен полюбить этот клевер. Каждый раз, глядя на него, он будет слышать отголоски твоих мыслей. А чтобы стать твоим будущим, он должен сохранить клевер до следующего новолуния, а затем вернуть тебе. Тогда части твоей души соединятся, а юноша сольётся с твоим настоящим и поможет найти будущее.

Русалка улыбнулась, а в глазах заиграли коварные искорки. Правда, девочка их не заметила.

— Но он не сможет полюбить меня, пока я не вырасту, — убеждённо сказала девочка. — А ещё у нас ноги разного размера — у него больше.

— Об этом не беспокойся. Если он полюбит тебя, ваши сердца и души сольются, а уж ступням никуда не деться! Клевер-то волшебный!

— Тогда я согласна, — решила девочка и потянулась за цветком.

— Подожди, — сказала русалка. — Чтобы договор вступил в силу, зайди в воду, окунись, сделай три оборота под водой и возвращайся на берег.

А потом, когда девочка, скинув платье, погрузилась в воду, тихо произнесла:

— У тебя красивая душа, маленький человечек. Светлая и чистая. И ранить тебя легко, и обидеть просто, и растоптать. Кусочка такой души мне и не хватало. Впрочем, люди слишком просто расстаются с самым дорогим. И ещё — они глупы, жестоки и равнодушны — её избранник не вернёт клевер.

И исчезла, и только рябь пошла по воде да сверкнула перламутровая чешуя рыбьего резво-резного хвоста.

А девочка, вернувшись на берег, увидела на примятой траве цветок клевера. Она взяла его, и в этот момент наступила ночь.

\* \* \*

Мы вышли из дома после полуночи. Фонари бликовали на стёклах машин, заполонивших пространство двора — в новогодние праздники люди до отказа наполнили каменные коробки многоэтажек, оставив, как одежду при входе, многочисленные иномарки.

Мы шли, а пушистый снег, по-новому мягкий и тёплый, летел в глаза. Ты наклонилась, слепила комок и бросила в меня: «Давай поиграем!». Я ответил что-то несурзное — шампанское не спешило выветриваться, и легонько подтолкнул тебя... А потом, помогая подняться, корил себя за несдержанность.

Что-то перепуталось в мыслях. После этого толчка мне показалось, что я увидел глаза твоей кошки, ты дала ей мужское имя — Василий. Она смотрела на меня и вдруг приоткрыла пасть, но... вместо мяуканья раздались слова: «Помоги ей найти себя. Ты же видишь, как это важно для неё».

Тогда я ничего не понял. Даже испугаться не успел. Прогоняя морок из головы, помог спутнице отряхнуться, и мы отправились бродить по бессонному городу. Издалека доносились раскаты новогодней артиллерии, из окон — счастливый смех, а деревья роняли на снег длинные разорванные тени.

Навстречу подалась фигура — мужчина был пьян и хотел поговорить.

— Закурить не найдётся?

Он удовлетворился женскими Vogue Blue с ментолом, и пока курил, рассказывал, как проводит новогоднюю ночь, не смущаясь, что уже третье января. Он путешествовал из квартиры в квартиру, от стола к столу и от подстоля к подстолю, улыбался нам, потом обнял и пытался увлечь с собой:

— Братцы, — словно не замечал, что моя спутница — девушка, — ночь только начинается! Фьюить! Ночь — она от курантов до курантов!

Его язык заплетался, как и мысли. А неуёмная энергия несла вперёд, в поисках ускользающего счастья.

— В Микрорайоне. В Микрорайоне ребята гуляют. Пошли в Микрорайон, праздник только начинается...

Нам было не по пути.

— Куда вы? — Мы прощались, жали руку и желали отыскать гуляющих ребят. — Как же Микрорайон, как же Новый год? Все гуляют, даже звёзды. — Он поднял палец и крутанул им. — А впрочем... Ну его к чёрту, этот Микрорайон, — и шагнул в сторону, исчезая в пороше, словно его и не было. А мы продолжали путь.

Впереди заискрил снежной обсыпкой мост,дохнула Волга, спрятавшаяся подо льдом. Мы остановились у перекрёстка, лвя губами снежинки и улыбаясь друг другу.

Падающий снег я разглядел и в твоих глазах; там тоже начался снегопад и бликовали остроконечные искры.

— Ты похожа на снег, — вдруг сказал я.

— Совсем нет, — ответила ты. — Я не хочу падать. Наоборот. Откинуть оболочку тела, расправить крылья и взлететь.

— Но тело мешает и прижимает к земле.

— А душе нужен полёт. Вырваться из несовершенного тела, забыть о мелочах, необходимости добывать еду... Знаешь, я смогла бы остаться с тем, кто сам — ветер. Только с ним. Никто больше меня не удержит. — Она чуть подумала и добавила: — Ты — не ветер.



\* \* \*

Он мог стать ветром, этот мальчик, вытянувшийся выше сверстников. Но не захотел. Играл в мальчишечьи игры, рассекал на велосипеде тишину летних улиц, представляя себя гонщиком, несколько раз падал, но не боялся — шрамы украшают мужчин.

А однажды днём, когда солнце крепилось к закату и протягивало лучи сквозь листья лип, нашёл на крыльце цветок клевера. Поднял, инстинктивно притянул к лицу и оглянулся.

Конечно, он не заметил девочку — её скрывал кустарник, — положившую несколькими минутами ранее так и не завядший со вчерашнего дня цветок.

Её сердце сжалось. Что он сделает с клевером? Выбросит? Сломает? Или... возьмёт с собой? Ей казалось, если он выбросит цветок, она почувствует боль падения, если сломает, то — сломается сама, если порвёт...

Мальчик вдохнул чуть уловимый аромат и вошёл в дом. На кухне наполнил водой пузырёк из-под лекарства и аккуратно вставил стебель в горлышко. Затем выбежал, сжимая трофей в руках, и отправился в отцовский сарай, где, в самом углу, за шкафом, оборудовал убежище — там стояли заброшенные уже солдатики и машинки; на узкий стол, еле влезающий между шкафом и задней стенкой, накинуто покрывало, куда он забирался и читал книжки. Чуть выше, в сторону огорода, выходило небольшое окно, вполне пригодное для чтения, особенно под вечер, когда солнце опускалось и красно-маревым светом освещало его сокровенный мирок. Он поставил спасённый цветок на подоконник и теперь сидел на столе и любовался им.

Вода действовала живительно. Венчик клевера наполнялся силой и тянулся к окошку, все пять листочков (мальчик вспомнил, что пятилистник приносит удачу) отчётливо позеленели, стали видны крохотные жилки-веночки.



Но долго усидеть мальчишка не мог — ветер завёлся в его волосах и звал в путь — оседлал двухколёсного друга и умчался ставить рекорды скорости, нарушая тишину сонных улиц.

\* \* \*

— А сейчас самый горячий номер сегодняшней ночи — мужской стриптиз! — надрывался голос ди-джея. Клуб, в который мы заглянули, был наполнен тенями и молодёжью. За столиками — стайки девчонок и склонившиеся друг к другу парочки, вдали, у стены, громко смеялась, перебивая музыку, нетрезвая (хотя кто в этом клубе был трезвым?) компания, деловито сновали официанты.

Нам повезло. Столик в дальнем от танцпола зале освободился незадолго до нашего прихода.

— Покурим? — предложила ты.

Мы заказали кальян и два бокала вина. Ты откинулась на спинку диванчика.

— Здорово сбежать от работы, бешеного, оглушающего ритма, — сказала ты. — Здесь всё так неспешно, спокойно... Когда выйду на пенсию, перееду сюда, буду работать на грядках, гулять по набережной...

Странно звучали слова про тишину и спокойствие в зале с гремящей музыкой, хохотом и возгласами. Ты словно вытеснила за пределы столика шум и гомон и вернулась в маленький и сонный городок нашего детства, который лежал за стенами. И тут я понял, как ты устала внутри. Как работа (нелюбимая?) давит и прижимает к земле, сминая крылья. Как людское мельтешение, а то и удушающая двуличность вдавливают в землю, перемальвая в жерновах Большого города то, что стремится в полёт. Я представил тебя в южном городе. Горы обступили со всех сторон, солнце опалает улицы, деревья не спасают от жары. Но возле моря — там обязательно должно быть море — веет надеждой.

Ты готова часами ходить по южному городку, даже забраться на гору, куда ушёл и навеки остался тот, с чьим именем будут ассоциировать это место, но ты будешь неизменно возвращаться к морю, лоя губами солоноватый привкус воздуха. Здесь бывали многие, кто умел воспарять, у кого были крылья. И девушка, выкинутая и растоптанная жизнью; но тогда она парила, и её подруга, её Снежная Королева, источала страсть... Была любовница итальянского фаталиста, умудрившегося по безалаберности стать причиной смерти троих... Был граф, страдавший от отсутствия крыльев, а потому из-под его пера выходили истории о людях, которые научились летать...

Но я задал совершенно другой вопрос:

— Что ты хочешь от жизни?

И тут же шум, безумство музыки и сумасшедшая игра света обрушились на нас. Мы вернулись в подёрнутый пороком клуб.

Ты посмотрела на меня, словно я вырвал из тебя часть мечты, но сказала как всегда мягко:

— Есть маленькие цели, к которым я иду, а большой цели нет. Мне нечего добиваться.

Принесли заказ, и мы взяли бокалы в руки:

— За то, чтобы жизнь не была бессмысленной, — очередной мой неудачный тост.

Но ты согласилась, и бокалы соприкоснулись.

\* \* \*

Отрывались и падали — отяжелев — первые жёлтые листья. Они уходили не в срок, как люди, на исходе их, людского, лета. Но девочка пока не задумывалась над такими вещами. В ней отцветала и готовилась опасть мечта — о мальчике, ступня которого была больше её ступни на два размера. Они даже познакомились — случайно, когда она сидела на лавочке в сквере и читала книжку. Он было промчался мимо — лихой, задорный, неуклюжий (и в то же время прекрасный), — но вернулся, остановил велосипед и бросил:

— Ребят не видела? Мы хотели кататься вместе.

Она помотала головой — слова приклеились к нёбу и отказывались выходить наружу.

— Если приедут, скажи, что я на старом кладбище.

И укатил — почти за черту города, а получается, что и — за черту её жизни. Во всяком случае, на это лето.

Она не знала, что он ухаживал за цветком — образ лидера, выбранный им в жестоком мальчишечьем мире, где если не ты, то тебя, растворялся, распадаясь осколками защитной брони, когда он оставался один. Он бережно перелистывал страницы старых книг, вдыхал запахи переплётов и типографской краски — удивительно, но серия «Библиотека приключений», изданная в 50-е, пахла привлекательнее, чем книжки, появившиеся на границе 80-х и 90-х... А временами подолгу смотрел на оживший, но постепенно склоняющий головку цветок. Из него выходила жизнь — как от девочки отделялась, перелетая к русалке, частичка души. Наконец клевер увял.

Мальчик достал его из пузырька, отряхнул и поместил между книжных страниц — он решил засушить его, а потом схоронить внутри одной из банок или ваз, стоящих в сарае, до будущего лета. Вряд ли кому придёт в голову рыться в старье, а вот из книжки цветок вполне могли изъять — семья была из книголюбцев.

А девочка произвольно грустила. Она — всесильная в мире грёз — не могла подойти познакомиться с избранником. Неосторожно сказанное слово может утянуть за собой всё

остальное. А в мире детей — она точно знала — совсем не как у взрослых; встречаются по слову, а провожают по одежке.

Родители девочки задыхались в столице, гоня (и загоняя) себя по бесконечному кругу: работа-дом, работа-дом. А ей достался город детства с мудро-беспокойной бабушкой, летом, сквером, рекой, книжками — и мальчишкой, который в то время был для неё больше любого мегаполиса.

— Бабушка, мне иногда что-то видится. И как будто я могу что-то сделать — с миром вокруг меня, с людьми... Это правда? — однажды ни с того ни с сего спросила девочка.

— Можешь, милая, можешь, — ответила бабушка и, кряхтя, уселась за стол, приглашая внучку присоединиться. — Откуда у тебя мысли такие?

— Сами собой. Ниоткуда не звала. Появились, и всё.

— Это непростые мысли, внучка, — вздохнула бабушка, — я тебе не говорила, но сила слова через поколение передаётся. Потому ты — можешь. Только помни, после у тебя не будет пути назад.

— А что это за сила слова? — спросила девочка.

— Мудрость народная. Или проклятие — кто разберёт... Но это дар. И однажды настанет момент, когда тебе придётся определиться, принимаешь ты его или отвергаешь. Всего один момент. Но жизнь твоя изменится. Ты сможешь видеть и *говорить* больше, чем сейчас. Больше, чем другие.

— Так значит, мне не привиделось, когда я увидела девушку в белом — возле здания водохранилища, на камне?

— А когда это было?

— Мы возвращались с подружками с пляжа, был вечер, и возле тропинки я увидела её. На ней было белое платье, полупрозрачное, она протягивала руки в сторону реки, губы шевелились, но не раздавалось ни слова. Я спросила их: «Видите?». Они смеялись надо мной, сказали, что там ничего нет, а я, как всегда, всё придумала.

— Нет, милая, ты действительно видела. Это была душа. Не удивляйся, если с тобой будут происходить странные вещи. Видения, встречи с людьми, которых нет или которых... уже нет. Только не верь снам — не всегда верь. В них ты можешь увидеть себя, а можешь — судьбы других. Знай только, что они правдивы. И жди.

— Сколько ждать?

— Пока срок не придёт. Всё живое, всё от природы. Природа — она чувствует, знает. Не думай пока об этом и не говори никому. Лучше положи две веточки осиновые в глиняный горшочек и схорони в комнате.

\* \* \*

События в клубе приближались к кульминации.

— А сейчас мы ждём добровольцев! Кто хочет прикоснуться к нашему гостю? — Ди-джей продолжал развлекать толпу, провоцируя, подзывая.

Первый стрип-танец закончился несколько секунд назад. Блестящие, играющие мышцами, парни призывно смотрели в зал и подманивали одуревших девчонок, недостаточно смелых — или пьяных — чтобы моментально забраться на сцену. Но как только одна зацепилась за протянутую руку стриптизёра, заиграла расслабляюще-релаксирующая музыка. Он обнимал её, водил руками по плечам, гладил бёдра, соприкасался всем телом — это был дикий первобытный танец соблазнения, только нужно было завести толпу, а не эту девчонку, она — как наживка, её тело должно загипнотизировать остальных; их касания — вначале почти безвинные — становились всё откровеннее. Его ладонь исследовала её тело, другой рукой он прижимал девчонку к себе, выгибал, помогая зацепить блеск в глазах тех, кто был в зале, усадил на барный стул, сел сверху — лицом к ней, склонился и толи целовал, толи шептал что-то; вскочил, оказался позади стула, положил ладони на грудь, проскользил вниз; подхватив на руки, описал полукруг в воздухе, припал на колено, проник руками под юбку, обнажая бельё...

Пластика, страсть, возбуждение разливалось по залу, музыка завлекала в танец, но происходящее гипнотизировало. Казалось, не руки стриптизёра раздевают девушку, а твои. Казалось, не её раздевают, а тебя. И не хочется отводить взгляд...

Танец кончился, едва начавшись. Бельё, мелькнувшее белой чайкой, оказалось кульминацией. Девушка, тяжело дыша, вернулась в зал и тут же исчезла с танцпола. А меня невыносимо тянуло в туалет — рвотные позывы начались ещё раньше, только мы пересекли границу клуба, но сейчас достигли пика. Не то что выпитого было слишком много, алкоголь и донимавшие меня мысли оказались несовместимыми и грозили катастрофой.

Меня вывернуло несколько раз. Задыхаясь, я склонился над белым овалом, силясь привести в порядок дыхание и восстановить зрение — взгляд заслоняла пелена кислых слёз.

А когда снова мог видеть — едва не вскрикнул. Я находился в комнате без дверей и окон — в квадрате или прямоугольнике. Стены едва заметно пульсировали — словно они были живыми и могли меняться. Рядом со мной сидел Василий, бывший котом в видениях и кошкой в реальности. Он посмотрел на меня, затем поднялся, подтрусил к стене и начал царапать её — всё сильнее, с остервенением, пытаюсь прогрызть дыру. Он рычал, рвал её когтями, кусал, отрывая шмотьё, которое извивалось на полу подобно пиявкам, затухая постепенно и неохотно. Кот

подпрыгивал, шипел, из пасти шла пена, а когда в стене появился просвет, всеми силами вгрызся в отверстие и протиснулся в брешь. Я подошёл к этому месту и с ужасом ощутил, что стена была не просто живой — из плоти и крови — дыра кровоточила и, одновременно, пыталась затянуться, заделать прореху.

Я не стал дожидаться, когда просвет сомкнётся, схватился за край и что есть силы потянул на себя. Руки тотчас покрылись кровью. Плоть не поддавалась, пальцы соскакивали. Ноздри, загодя учуяв добычу, расширились, во рту усилился железный привкус... И тут мной овладела звериная ярость. Я опустился на корточки, впился зубами в край комнаты-плоти, рванул на себя, засадил ногти прямо в пульсирующую жигу, раздирая, разрывая целостность, отнимая (отнимая?) жизнь у комнаты. Я кромсал её, продираясь к свободе или чему бы то ни было вне замкнутого кокона, извлекая себя наружу. И когда выбрался — с налитыми безумием глазами, весь в крови и ошмётках плоти, — передо мной стоял юноша. Он несколько не испугался моего вида, плотно сжатые губы изображали скорее удовлетворение, чем презрение или брезгливость.

— Я рад, что ты выбрался, — сказал он. — Только так можно преодолеть себя, переступить через страхи и условности.

— Что это было? — спросил я, опешив, не понимая, при чём тут страх и условность.

— Наше тело — подобно комнате, в которой ты побывал. В детстве, когда мы открыты миру, в ней множество окон и дверей, каждый может зайти, оставить след или знание. Следы бывают разные. Кто-то согреет, кто-то научит, подскажет. А кто-то будет принуждать, ломать твоё жилище, кто-то... саданёт лезвием или ножом. Комната большая — рана будет почти незаметной, но след останется — напоминанием о полученной боли. И когда ударов наберётся достаточно, одна из дверей закроется. След — это опыт, двери и окна — доверие. Комната — душа. Понимаешь?

— Получается, я оказался в душе, напрочь закрытой от окружающего мира, никого к себе не подпускающей?

— Именно, — чтобы достучаться до неё, нужно прорубить отверстие, которое будет кровоточить изначально — эта душа настолько очерствела, что даже благое проникновение оставляет новые раны.

— Тогда что я делал внутри, а не снаружи, к чему было вырывать из неё? И что там делал кот?

— Думаю, он показал тебе, что иногда, для того чтобы изменить нечто, требуется проявлять жестокость. Жестокость во благо. Это была его душа. Из той поры, когда он был человеком. Он пытается перебороть себя.

— А разве для этого нужно рвать в клочья собственную душу?

— Иногда только это и помогает.

Юноша развернулся и двинулся прочь, удаляясь необычайно быстро. Через пару минут он уже едва виднелся на горизонте, поднимаясь на возвышенность, усеянную деревьями. Я оглянулся. Вокруг меня простиралась высохшая под жарким солнцем долина — под ногами мелкая острая трава, в отдалении редкие кривые деревья и камни, валуны всевозможных размеров, я почувствовал что лишаюсь сил, а единственный оплот жизни — толи оазис, толи мираж, где скрылся юноша с плотно — буквально одной линией — сжатыми губами и умным печальным взглядом.

Журчание воды вклинилось в мысли. Я повернул голову на звук и ударился о бачок унитаза. Голова прояснялась, за дверьми оживали разговоры. Я, обессиленный, прислонился к пластмассовой стенке и перевёл дыхание.

— Я случайно сказала, совсем не хотела, просто на минуту потеряла контроль, и он вздрогнул, отступил на полшага, а я сжалась, боясь, что теперь всё кончено, что любые слова должны звучать только когда их ждут оба, — раздалось из коридорчика. — Но тут он подошёл ближе и сказал: «Я тоже... люблю...»

— Господи, что за сопли, — ответил прокуренный женский голос, но рассказчица как будто не замечала.

— У меня сердце чуть не остановилось... И грохало так — вот-вот выскочит, а потом опять замерло. Мы обнялись, а потом я оттолкнула его и говорю: «Что ты делаешь со мной, я так ждала этих слов, хотела, чтобы ты признался первым, а мне пришлось переступить через гордость, ты понимаешь, что без гордости я ничто или почти ничто, и теперь...»

— Прекратишь трескотню или нет, тоже мне. Ты что, не спала с ним до этого? — Но и этот пассаж был пропущен.

— ...Но тут он поцеловал меня и всё раздражение — было ли оно всерьёз? — прошло, я поняла, что только так и должно быть, что это моя победа, а не его, что гордость ни при чём, что он боялся отпугнуть меня — и совершенно правильно, потому что если бы поспешил, это могло всё убить...

— Я сама щас сдохну от этих слюней, — раздался смачный плевок — прямо на дверь, за которой был я, а монолог, который, казалось, ничто не могло остановить, продолжался.

— И мы оказались вместе. И всё было, и это было так прекрасно. И уснули, обнимая друг друга, — так нежно, так трепетно... А проснувшись, я любовалась им. Он так забавно спит! И когда открыл глаза, сказала: «Я смотрела, как ты спишь. Знаешь, у тебя во сне дрожат реснички...»

— Блядь, я сейчас обоссусь! — Существо с прокуренным голосом долбануло ногой в дверь. — Открывай, сколько можно ждать! Ты что, уснул?

Как ошпаренный, я вскочил, вырвался из туалетной кабинки, успев увидеть два девичьих лица — одно красное, перекошенное

от внезапной злости, а другое удивлённо-разочарованное, с глазами, которые начинало застилать солёное море обиды.

\* \* \*

Мальчик так и уехал, оставив цветок в сарае, в задвинутой к стенке шкафа вазе. Забыл о нём или нет — неизвестно, но когда прятал, шепнул: «Ты же дождёшься меня, правда?». Уехала и девочка, оставившая в этих краях не только часть души, но и пару закрывшихся дверей и окон в своей пульсирующей комнате...

Впрочем, через год они вновь оказались в этом городке и случайно пересеклись в парке. Она возвращалась из магазина с бидончиком молока и двумя хрустящими и ещё тёплыми батонами, он спешил куда-то по мальчишечьим делам, прижимая к груди пакет, из которого выглядывал дендевский джойстик...

— И ты приехала! — обрадовался он. — Здорово! Давай вечером погуляем!

— Э-э-э, отлично. После ужина.

На том и порешили. И вечером, когда они, побродив по остывающим от жары улицам, зашли в её комнату — бабушка принесла им чаю с яблочным пирогом — девочка предложила:

— Хочешь поиграть моей куклой?

— Нет, ты что, мужчины в куклы не играют!

А после, когда они разошлись, пообещав друг другу встретиться снова и на этот раз обязательно добраться до садов, девочка выбросила всех кукол.

Она бросала их, наблюдая, как они летят (словно в замедленной съёмке!), выбрасывала из себя девчачесть и детство... Она не ощущала жалости, напротив, чувствовала, что становится старше, взрослеет, и в этом полёте, жалком и трагически-величественном одновременно, когда куклы переворачивались в воздухе, забавно дрыгали пластмассовыми и тряпичными ножками, скрывалось небольшое лезвие, жадное до крови и порезов — мерцающих белыми метками в темнеющем квадрате комнаты.

Не так часто, как, может быть, им хотелось, они пересекались за это лето, несколько раз прошли вместе — им было хорошо вдвоём. Они нравились друг другу — как могут нравиться дети, улыбающиеся при встрече, играющие вместе и вместе открывающие мир. Конечно, никакие признания не были сделаны — время не пришло; да им и не суждено было прозвучать. Интуитивно их тянуло друг к другу и одновременно отталкивало. Что-то зрело внутри, а что — непонятно. И тогда — от безвыходности! — дёргаешь за косичку понравившуюся девочку. На этот раз «за косичку» дёрнула она, сказала невпопад, что его друзья — придурки, сорвавшие с их яблони все — ещё незрелые — яблоки, что они играют в глупые приставочные игры и... что обзывались: «страхолюдина».



Мальчик молчал, хотя чувствовал — красота девочки была необычной, не броской, — скорее внутренней, с той глубиной, в которую можно окунуться и не вернуться назад, оставшись навсегда очарованным. Ему нравилась пронизательность её взгляда, затаившийся ум, а главное — фантазия, с лёгкостью превращающая обычное в сказочное. После её рассказов оживали тротуары, в каждом здании, дереве, явлении таилась жизнь, скрывалось волшебство.

Что произошло в тот день, когда она неосторожно обидела его, накричала и, развернувшись, ушла — можно ли понять? В детстве обиды вырастают до исполинских размеров, а потом сжимаются до рисового зёрнышка, и сегодняшний друг назавтра станет врагом, а через день — снова лучшим другом.

Со временем их общение сошло на нет. При встрече они перекидывались несколькими фразами, иногда договаривались о встрече, но...

Лето заканчивалось. Родители мальчика продавали дом и окончательно переезжали на север — в оставшийся атолл заработка, не приняв судьбоносных изменений в стране. Они раздаривали вещи соседям. Досталось кое-что и бабушке — несколько кастрюль и сковородок, банок и прочих мелочей — для домашнего хозяйства. Среди этих вещей была и ваза — в которой пылился засохший цветок клевера — тут же задвинутая вглубь антресоли.

Мальчика перед отъездом терзало смутное чувство. Он хотел подойти к девочке и поговорить, пригласить в свой сокровытый, а теперь разрушаемый мирок, в «разграбленный» сарай, куда до сих пор не допускал никого. Ему казалось несправедливым, что девочка поделилась с ним тайнами (даже про бестелесную утопленницу в белых одеждах рассказала), а он — так и не открылся.

А ещё ему почему-то хотелось показать ей цветок — странным образом найденный, практически забытый, но вдруг расцветший в памяти. Но сколько ни искал заветную вазу, найти не смог, да и с разговором опоздал. Время в детстве течёт иначе, чем у взрослых. В одно прекрасное утро прикатил грузовик, и семья мальчика уехала из городка.

Как-то бабушка, увидев, что внучка грустит, присела рядом:

— Милая, ты знаешь, как можно избавиться от грусти?

— Она теперь всегда будет со мной, — ответила девочка, сама не до конца понимая, откуда берётся охватывающая её тоска.

— Это не так. Грусть в нас — отголосок прошедшего. Чтобы она исчезла, нужно изгнать её или заслонить новыми мыслями. Можно встать на рассвете, выйти к солнцу, закрыть глаза,

вдохнуть воздуха, сколько хватит силы, и медленно выдохнуть. И представить, что грусть собирается вокруг, вылетает и становится облаком — оно уплывает назад, за тебя, в сторону ночи, а ты — открывай глаза и иди к солнцу... А можно отвлечься — радоваться жизни, видеть мир вокруг себя, жизнь-то не затихает! Можно и поплакать, и печаль со слезами уйдёт, или поговорить с другом...

— Нет у меня друзей, — крикнула девочка и выбежала из комнаты.

Она бежала к реке, к тому месту, где когда-то встретила русалку, вода и берег неустанно притягивали её к себе...

\* \* \*

Мы расставались. Вокзал выглядел притихшим и совсем не праздничным. Рельсы уползали в туман, разрывая наше настоящее на до и после, меня продолжало мутить после вчерашнего. Шёл крупный мокрый снег. Ты потирала руки и шурилась.

Тишину — а говорить совсем не хотелось — разбил голос мужчины:

— Вот и кончился чёртов Новый год.

Вчерашний встречный, помятый и разочарованный, стоял рядом. Он тоже уезжал, то ли не догулявший, то ли напротив — пресытившийся возможностью потерять человеческий облик. Ждал ли его кто в Микрорайоне, куда он так стремился, было неясно. Но то, что утро третьего января он встречал у перрона, говорило о многом.

— Вы слышали про девчонку? — спросил он.

И, не дожидаясь ответа, продолжил:

— Вскрыла вены. В клубе, под утро, когда все расходились. Странная. Ей бы жить, а теперь...

— Неужели там, где мы были... — пробормотал я и назвал заведение.

— Именно. Спасли, но... А теперь — психушка, душеспасение, чёрт его дери... Да не её жалко, дура ведь, а родных. Им-то за что?

— Вы почему так рано? — Ты сменила тему. Говорить о чужой трагедии перед самым прощанием не хотелось.

— А смысл? — ответил мужчина. — Жизнь-то меня отсюда выкинула. Фьюить! Это же родина моя, городочек, тридцатник здесь разменял... И что с того? Здороваются, жмут руку, улыбаются. А отвернёшься, отойдёшь на несколько шагов, никто не окликнет, не позовёт. Что есть человек, что нет человека.

— Разве когда-то было по-другому?

— Может, было, а может, и нет. На словах все короли, да и лучше — там, где нас нет. Но вот когда пустота сковывает, когда душ родных рядом нет... А-эхх... Ощущение? Неловкое, словно встречаешь кого-то, бывшего близким, а пути — разошлись. Неинтересно стало вместе, ненужно. Всё одно — чужой.

— Понимаю... — начал было я.

Он усмехнулся:

— Если бы. Да не способны мы чужого понять. Своя беда горше кажется. Вот и страшно за девочку. Где тонко, там и рвётся, это да, но если рвётся от малейшего ветра? Жизнь-то жесточе. И что это за жизнь, когда знаешь, что тонко — везде?..

И поплёлся к подъехавшей электричке, подбитый, но не сломленный, уязвлённый, но не проигравший. Насколько он отличался от себя вчерашнего, искусственного, слепленного из придорожного снега и такого же недолговечного!

Заканчивалось и наше время.

Я проводил тебя до дверей вагона.

— Надеюсь, мы увидимся раньше, чем через год, — улынулся тебе.

— Конечно! Этой же весной, когда потеплеет. Найдём полянку, обязательно с клевером, и будем встречать рассвет!

Клевер. Это слово забилося жилкой в висках — словно значило что-то важное, но что? Казалось, привязок не было. Если только... да, сухой цветок клевера снился этой ночью. Там было много всего намешано — и чешуя, и омут, и чьи-то большие и удивлённо-пронзительные глаза...

\* \* \*

Прошло десять лет с тех пор, как девочка повстречала русалку. Она выросла, и след, оставляемый её ступнёй, стал больше, правда теперь она понимала, что сходства людей — а тем более чувств — не зависят от таких мелочей. За это время она пережила немало, теряла людей, подходивших к ней близко — даже слишком, чтобы стать её частью. Но, как то и бывает, сложности, не сломав, — закаляют. Она расправляла крылья — одиночка среди множества прочих, не признающих этого — и никак не могла понять, отчего одно крыло подбито.

Бабушка старела, но не опускала рук, без конца суетясь в доме и на участке, переделывая множество дел. К счастью, теперь она жила в небольшой квартирке, а в их бывшем жилье разместилась пришкольная библиотека.

Девочка не то чтобы чувствовала себя неполноценной, скорее не хватало какой-то малости для вдоха полной грудью — лёгкое удушье на самом пике. За прошедшие годы встреча с русалкой стала казаться ей детской выдумкой или сном. Да и мало ли что в детстве не привидится? Особенно в одиноком детстве.

— Бабушка, а бывает, что ты живёшь, а внутри тебя чего-то не хватает, неосязаемого, но важного, без чего и ты — не ты?

— Бывает, внучка. Это только кажется, что человек изучен, а посмотришь глубже, он как был, так и остался тайной. Предки знали больше нашего, да знания забылись.

— Но ведь можно что-то сделать...

— Можно сказать. Можно искать недостающую часть и найти — в человеке или в вещи. И коли найдёшь, почувствуешь, что отныне ты — единоецелая. И с этим — найденным — ни в коем случае нельзя расставаться, иначе худо будет. Привыкнуть просто, отвыкнуть... не у всех получается. А можно и не отыскать, жизнь на это отдав, но так и не вкусив жизни. Решай сама, милая. Больное дерево кричит, а живёт, а здоровое вмиг может рухнуть.

Она часто думала об этом. И подспудная тревога смирялась, утрачивала остроту и убирала шипы. Впрочем, ненадолго. Девушка вглядывалась в лица прохожих, подмечала удивительное в обычном и была много более чуткой, чем могло показаться со стороны. Ей до сих пор снились вещие сны, она видела тех, кто остался лишь шорохом в памяти друзей и знакомых... Но — оставалась одинокой, и одиночество становилось ею. Однажды, когда она подходила к пляжу, идущий навстречу парень бросил: «Давай познакомимся», но девушка ответила: «Зачем?». И прошла мимо. В другой раз, когда она с досады сплюнула, проходя обветшалым двором, из скрипучих дверей вылетела женщина с длинными чёрными волосами, пристально посмотрела на неё и, замахав руками, скрылась в доме. Было ли ей заметно раненое крыло или она угадала что-то другое, сокрытое внутри? И, вместе с этим, девушка была чиста духовно, обильно одаривала внутренним теплом родных и близких; иногда, по неосторожности, подпускала чужаков, и те оказывались под её светлым обаянием — создававшим ощущение незащитности. Хотя это было не так. Но рубцы на сердце множились.

К тому времени мы были знакомы уже несколько лет, но к рассказу это имеет лишь косвенное отношение. Куда важнее короткий разговор, случившийся в один июльский день.

Бабушка, вернувшаяся с прогулки, спросила с порога:

— Милая, помнишь Скоробогатовых? Жили на углу, ты ещё дружила с их Витей?

— Да, помню. — Воспоминания были смутными, но били по не до конца отболевшему.

— Пропал он. Несколько месяцев назад. Ушёл утром — и не вернулся. Двух детишек оставил. Да и те — ранние. Людмила, мать его, приехала вчера. Говорит, чтобы отвлечься... Зайдёт вечером...

Но девушка не слушала. Что-то непроизвольно подступило к горлу и грозило разразиться приступом душевной непогоды.

\* \* \*

Я возвращался. Улицы тянулись змеями, простираясь из января в полдень, в голове творился кавардак — мне казалось, я



расщепляюсь на несколько маленьких копий, разбегающихся в стороны, копошащихся, кричащих, суеящихся, и я не понимал, за какой следовать, какая дорога верна, а какие отвлекают, мешают идти вперёд, тянут, тянут и топят в болоте обыденности.

Наутро я читал книжку о переселении душ. Автор доказывал, что дух — вечен. И перерождается не только в людей, но и в растения, животных и прочих тварей. А ещё — может делиться на части — на две или более — и вселяться в любые существа,

даже живые. (В последнее я верил с трудом, сложно представить, что в меня может вселиться часть чуждого мне духа; впрочем, на какие только фантазии не идут авторы, желающие продать как можно больше экземпляров выдуманной чуши.) А потому общий баланс жизни на земле — неизменен. Исчезают животные — становится больше людей, уходят люди — их место отвоёвывает другая жизнь... А ещё автор писал, что мужское и женское начала в человеке могут меняться местами.

Как раз на этих строчках, когда я был почти готов в них поверить, по странице книги прошла волна. Текст помутнел и стал растворяться, листы завибрировали, и сквозь них проступила кошачья физиономия — мне-то казалось, что видения были следствием алкоголя, а оказалось...

Кот фыркнул, изображение стало чётче, и я разглядел вздыбленные усы, усталые глаза и перепачканную скомкавшейся пылью и паутиной шерсть.

— Не ожидал? — совсем по-человечьи ухмыльнулась наглая морда. — Ты сейчас на развилке и не можешь понять, куда двигаться дальше. Пытаешься куда-то идти, что-то отыскать, говоришь умные — вот уж! — вещи, а в это время стоишь на месте. Опыт? Он бесполезен, когда направлен в разные стороны, когда ты не знаешь, к чему приложить себя. Это в лучшем случае кругозор, ненужный, бесполезный — ты загрязняешь клетки мозга, а если счистить сор, что останется? Растерянный человек, не помнящий, где право, а где лево.

— Я схожу с ума? Это бред?

Но Василий проигнорировал вопросы, почесал за ухом — комичность при серьёзных словах — и продолжил:

— Я хотел, чтобы ты посмотрел на себя со стороны, отсёк наносное. И вчера ты — видел. Понимаешь, что встречи последних дней — неслучайны? Что вы, ты и моя хозяйка, слишком во многих узнали себя? Всё перемешано! В каждом есть что-то общее и далёкое одновременно. Сколькие растекаются по многим направлениям, от рождения до смерти не представляют из себя ничего, кроме воздушного шарика, в который закачивают и закачивают бесполезную информацию? Беда в том, что шарик привязан и не может взлететь, со временем воздух выходит, шарик уменьшается и опадает — в той же точке, где появился на свет. И только мудрецы или отъявленные эгоисты — им-то претит стоять на месте! — способны замереть на мгновение, отступить от себя на полшага и перерезать верёвку-пуповину, отправив шарик в полёт. И — управлять им, вести, как капитаны! Это называется — обрести крылья. А у тебя их нет.

— Я знаю, — неожиданно согласился я. — Ещё вчера был готов спорить, а потом увидел, что и твоя хозяйка, и встречный, и даже девочка из клуба — пошли своим путём, а я, пропустив их через

себя, остался... Они взлетели или попытались взлететь. И так ли важно — куда? А я смотрел вслед...

— Помнишь, что я сказал тогда? Ей нужно отыскать себя, чтобы не биться раз за разом при взлёте, чтобы парить. Иногда достаточно просто подать руку, иногда — подвести к нужной двери, иногда... рассказать человеку о нём же, — со стороны. Теперь понимаешь?

— Но я совсем не знаю её. — Это было правдой. При всём общении, дружбе я мог только догадываться, что она чувствует и никогда бы не добрался до истины.

— Тогда представь. Придумай. Что угодно, хоть вселись в её тело. Главное, чтобы ты сказал правду. Тогда твоя и её правды объединятся, и это будет небольшим движением к истине.

Изображение стало мутнеть, буквы возвращались. Но я успел полувыкрикнуть, полупрошептать (получилось что-то вроде хрипа):

— А ты сможешь открыть ей *свою* правду?

— А как же... — изображение потухло.

Перед глазами сновали бесконечные книжные страницы, томики книг, блестящие отлакированными переплётками, лица, лица, улыбающиеся, смеющиеся, плачущие.

И я проснулся.

И тут же пожалел, что кот мне привиделся, а значит, все предыдущие видения были плодом фантазии. Я боялся признаться в одном — мой воздушный шарик и впрямь привязан бельевой верёвкой к земле. Мне хотелось летать.

Впрочем, рутина затягивала, и если кроме женского и мужского начала в нас бывают ещё сомнамбулическое или бесполое — подошли бы в самый раз. Из многодневного оцепенения вывел телефонный звонок:

— Представляешь, я узнала, сколько стою, — сказала моя подруга.

— И? — Я не сразу понял.

— Двадцать пять тысяч. Хотел у меня занять. Скажи, что со мной не так, если для того, чтобы меня поцеловать, нужно пить алко? Неужели я такая страшная?

— Нет, я...

— Я всё поняла и спросила, что ему нужно на самом деле. Он сказал — одолжить денег. Это моя цена.

Я не согласился и ответил, что жизнь куда чаще подбрасывает подонков, чем мы ожидаем, что любители лёгкой наживы встречаются на каждом шагу, что она — на самом деле — просто сильнее этих людей, у неё хватает сил нести свой крест, не жалуясь, не стеляя, ведя за собой — и я иду следом. У неё хватает благородства отпустить, ничего не говоря вслед, даже если люди

того не стоят. Что закрываться от людей — не выход, потому что можно пропустить того самого — единственного, который развеет сомнения и проткнёт шпагой уверенности страхи.

И тут я вспомнил о данном несколько месяцев назад обещании — написать рассказ о ней, когда она была маленькой девочкой и отчаянно переживала потому, что размер её ступни был на пару размеров меньше ступни понравившегося ей мальчика (а значит, он её ни за что не полюбит!). Положив трубку, я схватил блокнот и начал выуживать из памяти обрывки того разговора, записывать их, перечёркивать, править. Я представлял *его* и *её* — в детстве. Хотел понять, какими были *они*. Мне почему-то казалось, что (и дальше я цитирую по блокноту): *«Она хотела быть достойной его, хотя не понимала, что он просто маленький и, возможно, капризный мальчик. Она что-то чувствовала в нем. То, что отличало его от других. Он умел летать. Тогда ей было неизвестно, что один из его полётов — пике — затянется на неопределённый срок»*. И она стала достойной. Уйдя с головой в работу, сузив границы интересов и времени, потраченных на всё стороннее, она состоялась. Была ли счастлива? — вряд ли. Счастье — не часть достоинства. Но она была сильной — в этом не было никаких сомнений.

Я долго думал, каким мог стать мальчик к своим тридцати-тридцати двум (примерно столько ему должно быть сейчас), и мне представился побитый жизнью мужчина, разочаровавшийся в мечте и цели (а он шёл или даже летел к ней), глаза которого — поблёлкли, как у того, встреченного нами пьяницы. Или... у Василия, кота и кошки одновременно, существа, несколько раз проникавшего в мысли. Я усмехнулся про себя. Всё-таки я попытался заглянуть в неё — своими, блёклыми ли? — глазами — пусть и на бесконечность разминувшись с реальностью. Совет, пришедший во сне, стал ориентиром, ниточкой, за которую я ухватился. И верил, что на немного приблизился к разгадке ребуса, уже давно волнующего меня — человеческой души. Впрочем, скорее всего, я заблуждался.

\* \* \*

Я и не знал, что в один из вечеров, когда девушка разбирала вещи в домике на участке (бабушка, которой всё труднее было выбираться из дома, в это время возилась на грядках), раздался грохот и звон посуды.

— Васёна, ты опять разбила вазу, хорошая моя кошка?

— Вот же он, вот же, вот же, — ответила пушистая зверушка. Но хозяйка услышала только: «Мяу, мяу, мяу».

2012–2013



## Свидание

Зима в этом году наступила позже обычного, и только к концу декабря улицы спрятались под снегом, хлопья падали на вечерний город, прохожие ёжились, едва выглядывая из-за высоко поднятых воротников. А я, прижимая к груди букет цветов, схваченный газетой, шёл в сторону общежития. Точного адреса не помнил — был здесь по случаю давным-давно, — однако ноги сами завернули к высокому, скрытому вечерней полутьмой, зданию.

Она написала, что ждёт. И телефонное знакомство с минуты на минуту должно было стать реальным... Я боялся, что не смогу связать и пары слов — слишком долго ждал этой встречи, но, в конечном счёте, слова — не самое важное, а потому...

Привет, — сказал я, когда ты открыла. — Это тебе.

Ты, улыбнувшись, взяла букетик.

— Привет. Спасибо.

Я прошёл в небольшую, по-спартански обставленную комнату. На полу валялись инструменты, перевёрнутая тумбочка уныло уставилась на меня подобием ножек.

— Проходи, будь как дома, — ты опять улыбнулась, понимая, что эта комната дом напоминает весьма условно.

— Обустроиваешься? — спросил я, присаживаясь на стул и бухая рядом свой всегдашний рюкзак.

— Целый день дырки в спинке кровати проделывала, чтобы приставить на место, — казалось, ты была смущена не меньше моего.

— А чем? — задал я первый глупый вопрос...

— Ножом, — в третий раз улыбнулась, указывая взглядом на нож, полускрытый под плоскогубцами.

— Ого... — только и смог ответить. Но тут вспомнил, что не снял куртку. — Совсем забыл. Не возражаешь?

Ещё один глупый вопрос.

Вешалка была прибита к внутренней стороне двери, и, когда я оказался возле неё, заметил, что подаренный букет лежит на тумбочке. Я подумал, что ты обратила на него слишком мало внимания...

— А ты как? — раздался встречный вопрос. — Со многими встретился?

Честно говоря, пока разговор походил на встречу малознакомых людей, один из которых по ошибке заглянул к другому.

— Со всеми... Замотался, если честно... Видишь, даже собраться не могу... — оправдал я скованность.

А сам украдкой смотрел на тебя — на губы, глаза, запоминая и вычерчивая в сознании портрет. Каким милым и родным казалось твоё лицо, как хотелось бесконечно смотреть на него (или я заставил себя в это верить, нафантазив за время нашего sms-общения бог знает что?). А ты ещё постоянно убирала взгляд, стоило ему пересечься с моим. Я немного пожалел, что купил цветы. Без них я бы с порога заключил тебя в объятия, и тогда наше общение — уверен! — стало бы более... доверительным, во всяком случае, менее напряжённым... Но букетик из трёх роз оказался непробиваемой пока стеной. Впрочем, нечего винить цветы, они сегодня — мои друзья.

— Смотри, что я привёз, — я расстегнул зелёный рюкзак с лэйблом «Ягуара». — Эти стихи видело до тебя всего несколько человек...

Ты листала, ненадолго задерживая взгляд на страницах, где-то пролистывая сразу, где-то читая.

Конечно, стихи не имели ничего общего с целью приезда, они были нужны, чтобы завязался непринуждённый разговор, чтобы была разбита некая настороженность между нами. Хотя и они были на моей стороне — я мог, ничего не говоря, любоваться тобой: и маленькими пальцами, которыми ты бережно переворачивала страницы, и чёрными ресницами, подчёркивающими выразительные глаза, и оранжевой то ли кофточкой, то ли рубашкой с капюшоном — совсем не разбираюсь в одежде... Да всем! И тёмными волосами, выглядывающими из-под капюшона, который, кстати, очень тебе идёт, и дымчатыми джинсами... Всё было настолько мило и гармонично, что стоило больших усилий оторвать взгляд. А блеск и чертенята в глазах! А искренняя согревающая улыбка... Понимала ли ты, какой красивой была в этот вечер? И твоя красота словно ретушировала скучную обстановку комнаты. Казалось, ничего больше и не надо — ты, как звёздочка, приковывала взгляд, и всё вокруг казалось несущественным...

Ты возвратила стихи.

— Очень красиво... Ты мне их оставишь?

Я кивнул. И повисла тишина. Естественная и неестественная одновременно. Ты почти не смотрела на меня, уставившись в никуда, а я — то на тебя, то тоже — в пространство. Хотя оно и было ограничено лишь несколькими квадратными метрами.

Я заметил, что в комнате играет музыка. Странно. До этого момента я был так заворожён тобой, что не слышал её. Прозвучала одна песня, началась другая, в которой исполнительница пела что-то про поцелуй... Поняв, что так долго продолжаться не может, я нарушил молчание.

— Н-да... Театральная пауза. — Точно. Моё красноречие отказывалось работать. И я догадывался почему. — О чём ты думала?

— Ни о чём... просто чуть-чуть выпала... А ты?

Не знаю... Никогда бы не стал думать «ни о чём», если бы заглянул человек, с которым я доверительно и нежно переписывался и — между строк — мечтал о встрече.

— Я тоже ни о чём, — соврал я.

Тут ты проявила активность:

— Чаю хочешь?

— Конечно, — ответ стал долгожданной передышкой, и пока ты ходила наполнять чайник, я собирался с мыслями.

Кажется, точно знаешь слова, что хочешь сказать, кажется, нет ничего проще произнести их. Сказать, как ты дорога мне, как я ждал встречи, как часто думал о тебе, как ты мне нравишься. Простые, в общем-то, слова, но они застряли в горле.

Когда ты вернулась и села на диванчик — в полуметре от «моего» стула — я сказал:

— Знаешь, мне очень нравится с тобой переписываться, твои sms... они очень дороги и близки.

Ты улыбнулась:

— Аналогично.

— Это очень приятно — получать нежные и светлые сообщения на ночь! — я продолжал неестественными и полушаблонными фразами (как они красиво звучали в мечтах!). — А когда просыпаешься — перечитывать... И вообще, я сохраняю некоторые...

— У меня телефонная память тоже большая, — улыбнулась ты.

Ты часто улыбаешься, и эта улыбка так на меня действует... Мне захотелось пересесть со стула на диванчик. Но я не двинулся с места.

Мы немного поговорили про телефоны и переписку, коснулись затеянного ею ремонта, но ни разу не сказали друг другу ни одного тёплого слова, хотя в той же переписке их было более чем достаточно. Потом успели ещё раз помолчать и, наконец, вскипел чайник.

Ты разлила чай по кружкам и села на бортик диванчика. Наши глаза встретились и ненадолго задержались.

— Чего? — шепотом спросил я.

— Ничего, — односложно ответила ты и отвела взгляд.

— Почему ты всё время отводишь взгляд?

— Я не отвожу, — теперь ты смотрела ясно и прямо. — Нисколько. Видишь?

— Теперь-то — да... Теперь ты не будешь его отводить, — я натужно рассмеялся, тем временем пробуя горячий чай с ложечки.

— Вот, остатки вчерашнего пиршества, — ты пододвинула вазочку с печеньем и кусочками рулета.

Впрочем, я не особо озаботился тем, что было в вазочке. Я знал, время неумолимо приближается к отметке, когда нужно будет спешить на автобус, запоминал милые и дорогие черты твоего лица, смотрел в глубину выразительных глаз, где видел то грусть, то улыбку, то чертеныт, то что-то, чему не мог дать определения. Я осознавал, что просто по-детски влюбляюсь. Уловив в переписке частичку твоей души, теперь я дополнял её внешностью. Как странно! Обычно вначале привыкаешь к человеку и только потом

«нащупываешь» душу, а тут — наоборот... Может быть, так и должно быть, когда сродняешься с человеком словами, когда...

Однако моё время вскоре вышло. И, отставив пустую чашку, я начал собираться. Сложил разбросанные вещи — я всегда таскаю кучу ненужного хлама — в рюкзак, замотал на шею шарф и надел куртку. И только тут, подойдя к тебе на полшага, раскрыл объятия. Не прошло и секунды, как я обнимал тебя. По-моему, я в это время шептал твоё имя, хотя в точности не помню. Просто наслаждался тем, что исчезли эти полметра, бывшие непреодолимой стеной, что я могу не только любоваться тобой, но и... чувствовать. Пятисекундное объятие показалось вечностью, скрытой в миге, мы отстранились, не разрывая рук, и я спросил:

— Можно тебя поцеловать? На прощание...

— Возможно, — ответила ты, но в глазах прормелькнула улыбка.

Я хотел коснуться краешка твоих губ, но ты в последний момент чуть наклонила голову, и я прикоснулся к щеке. После чего снова заключил тебя в объятия.

Можно ли описать мои чувства в тот миг? Как можно передать, насколько нужны и дороги объятия человека, о встрече с которым думаешь последние дни, к которому испытываешь огромную нежность, засыпаешь, и просыпаешься с его образом — пусть и нарисованным — в мыслях? Это не просто объятия друзей или знакомых, это не объятие любимых при встрече. Это объятие, которого долго-долго ждёшь и вкладываешь в него куда больше смысла, чем может показаться. И всё-таки, это объятие, когда обнимаешь человека, которого...

На этот раз мы много дольше стояли, прижавшись друг к другу.

А потом, когда я шагал на остановку, мне был безразличен холодный ветер — он не мог остудить сердце! Меня не заботило, что снег забивается под воротник — перед моими глазами стояло твоё лицо и, казалось, снег таял, не касаясь кожи. Я почти бежал по скользкому тротуару, провожаемый предостудительными взглядами прохожих. Они не знали, что у меня выросли крылья.

И пускай я не сказал тебе почти ничего из того, что хотел — успею! Зато я наконец-то, пусть и недолго, любовался тобой. Зато я наконец-то обнял тебя не как знакомого или друга, а как девушку. А слова... Остались же цветы! И когда ты будешь на них смотреть, прислушайся внимательнее — они прошепчут все слова, которые я не сумел сказать. Главное, чтобы ты сама захотела их услышать.

В этот момент загудел, извещая о пришедшем сообщении, телефон. Чуть замёрзшими руками я достал его. Сообщение от тебя. Я читал его и ощущал, как внутри меня всё холодеет... Пропала улица, пропали люди, пропал город... Оставались только я и чёрные точки на экране: «Почему ты не пришёл? Я ждала... Или ты ещё будешь? Запомни: комната 250...».

## Радуга

Это был край света. Раз в год, раздвигая облака, по небу проплывал кораблик. Говорят, его видел только один человек, невесть как добравшийся сюда. И это было странным — для обычных людей край света невидим.

Вдали, за облаками, проглядывала радуга — она была бледной и, если не всматриваться, её можно было и не заметить...

Утопая в соцветьях трав, по полю, метрах в двадцати друг от друга, шли двое. Он — в летних джинсах серого цвета; чёрная футболка заправлена и топорщится при ходьбе — потерянный ветер то и дело норовит забраться под неё. Девушка — в ярком платье, оно походит расцветкой на безумные фантазии Шагала. Платье колышется, и видны то всполохи пламени, то лазурные разводы, то люди с зелёными пятнами вместо лиц...

Молодой человек вёл ладонью по траве, та шелестела и тянулась к нему, но ветер, то ли ревнуя, то ли играя, наклонял хрупкие стебли в противоположную сторону.

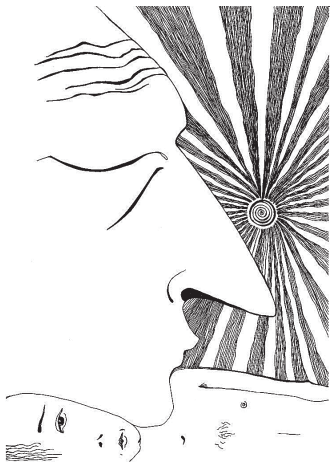
Девушка что-то напевала. Ей слышались песни ромашек, васильков, медуницы и иван-чая, чуть слышные напевы берёз, росших на опушке леса, который начинался неподалёку. Даже солнца, направлявшего ей звуки на стрелах лучей. И она не могла не подхватить их, не могла не вплести в их ладный хор свой голос. Казалось, поёт не девушка, а сама природа.

Спутники были не совсем людьми. В глубинах их сознания таилась сила, подчиняющая природу и людей. Таких, как они — Особенных — было не много, край света был местом уединения. Отчего-то именно здесь они обретали чувства, терявшиеся в шумных городах.

Сюда хотелось прийти. Исподволь, будто человек возвращается в дороге сердцу места. Не в детство, потому что возвращаться в детство нельзя, иначе его можно потерять.

\* \* \*

Девушке в удивительном платье казалось, что детство — книжка сказок, что-то нереальное, далёкое и манящее. Когда-то оно следовало по пятам и шептало на ухо: «Вернись, вернись...» И она раскопала старую книжку и погрузилась в строчки, но чуда — того чуда, которое бывает только в детстве — не произошло.



Прочитав одну-две сказки, открыла книгу на середине, но...

Видимо время, добавляющее на красивое, чуть грубо слепленное лицо — с выразительными, немного большими глазами, только подчёркивающими её очарование — незаметные пока морщинки; время, вешающее на душу замочки от всех встречных, — убило веру в то, о чём просила и что пока ещё цепко хранила память. Но ребёнок в ней не умер. На следующее утро она села в автобус и отправилась в соседний городок, чтобы увидеть улицу детства, где не была лет десять...

Вечер надвигался неотвратно, робко трещали кузнечики, вдали, с горечью всё понимающего, но не могущего остановиться пьяницы, лаяли собаки, а она бродила по кленовым дорожкам, останавливалась у заржавевших почтовых ящичков. Теперь они не нужны — жители квартала купили маленькие почтовые ящички и повесили их возле домов. А она так любила смотреть и считать, кому из соседей приносили газеты, кому — письма: в маленьких дырочках у основания железного ящичка это было хорошо видно. Иногда бывало, что ящик словно разбухал — когда адресат уезжал или... А сейчас этот маленький мирок стоял скособочившимся и хмурым — ящички проржавели и зияли открытыми створками, черепичная крыша, укрепленная сверху, покосилась и почернела...

Она ходила по тротуарам, никогда и никем не асфальтированным. Они стали меньше, трава отвоёвывала у редяющих жителей то, что было когда-то отнято у неё, и оставляла маленькие тропинки — по ним уже невозможно пройти вдвоём.

А, может быть, что сейчас казалось жутким, мрачным и неживым, в детстве виделось ярче и сочнее, светлее и больше? Вернувшись, она постаралась выбросить увиденное из памяти, зная, как порой жестоко жизнь карает романтиков и мечтателей, если они слишком далеко уйдут в свой мир.

\* \* \*

Рука юноши коснулась спутницы. Она вздрогнула.словно цветок прикоснулся к ней, пройдясь бархатным лепестком по коже.

— Ты красиво пела, — он обнял её за плечи. — Мне показалось, что ты передала голосом красоту окружающего мира.

Она улыбнулась, казалось бы уснувшей в городских буднях улыбкой:

— Когда тебе хорошо, ты можешь намного больше, чем обычно.

И, повернувшись к нему, сказала:

— Разве ты не согласен?

И они слились в унисон с песнями трав, и небо с бегущими лошадьми, смущаясь, смотрело на них, и ему казалось, что люди эти, днями ходившие в толпах себе подобных, хотели только одного — чтобы ушло наносное, чтобы отступили те, кто отдаляет и мешает вот так заглянуть в глаза и спросить: «Разве ты не согласен?».

Позже они следили за бесконечным бегом лошадей — таких красивых, величественных и — таких обречённых. В основном, цвета осенней степи, среди них иногда попадались напоминавшие смутный, почти лишённый красок закат. Они бежали по кругу, пропадая за границей конца света, и тут же возникая вновь. И вдруг:

— Смотри! Ты видишь?

Среди движущегося потока возник жеребёнок, яркий оранжевый стригунок. Его обгоняли, стараясь не задеть, а он, неестественное пятно, петлял между бегущими сородичами и облаками. И тогда они становились похожими на оранжевую сладкую вату.

— Это стригунок, — промолвил юноша. — Мне рассказывали, что все стригунки, бегущие по небу, оранжевые. А потом они меняют цвет.

— Не знаешь, почему? — спросила она.

— Почему становятся серыми? Думаю, потому что выгорает их мечта.

— А разве мечта может выгореть? — она повернула к нему голову.

Он помолчал немного:

— Да. Когда не видишь конца пути.

В том, другом мире, ему не было дела до её чуть водянистых глаз, пробивающих любой лёд взмахом ресниц, аристократичных пальцев, которыми так приятно любоваться и просто прикасаться — он заметил это только сейчас. Но помнил и не забывал: когда счастья слишком много, оно становится серым. Когда изменяешь мир под себя, легко не заметить, как он проглотит тебя и отберёт чувства, возвращающиеся только на краю света.

Он представлял рыболовную сеть, которая накрыла его с головой и вытащила, но не всего, а лишь чувства. А тело рыбак выбросил, как ненужный мусор, поднявшийся вместе с ним со дна — этакий дырявый ботинок. И теперь к «ботинку» возвращались эмоции, потерянные, как он думал, навсегда — с тех пор, когда стало нестерпимо больно. Может быть, это боль тогда пульсировала в подреберье? Может быть, она вызвала этот

душевный инсульт? Организм борется с болью, но не в силах победить. И тогда или кровоизлияние в мозг и потеря памяти... Нет, потеря чувств!

\* \* \*

Облака рассеялись, и перед взором предстала радуга. Она была блёклой — семь цветов вышиты на футболке, которую много раз стирали.

— Какая бледная радуга, — прервала молчание девушка. Слова были чуть громче дыхания, но юноша услышал.

— Это Старая радуга, — шепнул он. — Прародительница радуг на свете. Она перемещается по свету, только появляется без дождя. А дом у неё — здесь.

— Посмотрим поближе?

И они взяли за руки и воспарили над полем — на краю света их умение менять материю никуда не делось.

Старая радуга была величественно-трагична — как благородный дворянин, оставшийся в разорившемся имении. Огромные дуги, цвета которых так сливались, что трудно было различить все семь, простирались за границы конца света.

— Помогите мне, — почувствовали в глубине сознания тихий и утомлённый голос спутники. — Скоро мои цвета растворятся в одном, а затем и он пропадёт. И тогда все люди — не только такие, как вы — потеряют чувства.

— О чём ты? — спросил юноша. — Как люди могут потерять чувства?

— Подобно вам, — прозвучало в сознании. — Каждый мой цвет — большое человеческое чувство. А между ними — оттенки.

— И чего ты боишься? — На этот раз девушка задала вопрос.

— Раньше в моём спектре было больше цветов, некоторые оказались не понятыми, другие — пропадали. Потому что древние люди, когда-то всё поверявшие чувствам, начали их терять. Несколько тысячелетий их было семь. Но люди стали чаще — минуя чувства — переходить на инстинкты. И скоро... пропадут ещё несколько дуг — тех, что похожи по цвету, — они сольются.

— Что ты хочешь от нас? — спросила девушка.

— Поскольку вы не-совсем-люди и способны изменять законы природы, я бы хотела, чтобы вы назначили моим дугам-лучам новые чувства, так, чтобы похожие по цвету не совпадали, чтобы они... не смогли слиться.

Спутники вопросительно смотрели на радугу.

— Выберите цвет и поменяйте чувство, заложенное в нём, — продолжал бесплотный голос. — Начните с чистого листа. Представьте, что на земле нет чувств, создайте их заново.

— Хорошо, — сказал он. И посмотрел на девушку: — Не боишься?



— Я? — И, приостановившись на пару секунд: — Нисколько. Только ответственность...

— Поторопитесь, — ощутили они усталый голос, — я не могу знать, в какой момент пропадут лучи, — это может произойти очень скоро.

— Ладно, — сказал юноша. — Приступим.

Они отделились от Радуги, чтобы точнее видеть цвета и попытались проникнуть в её суть, в естество. Отголоски эмоций, водоворот чужих страстей, общечеловеческих и мелких, личных обид и радостей, зависти и страстей, окутал их. Силой мысли вырвавшись из морока, они чётко представили перед собой семь разных, пусть и сливающихся, цветов...

— Фиолетовый, — произнёс он. — Выбирай новое чувство.

— Хочешь, чтобы это сделала я? — спросила, задумавшись. — Хорошо. Я хочу, чтобы он выражал одиночество и апатию.

Её вспоминался фиолетовый дождь за окном, когда она ждала звонка, того самого, единственного; как бросала трубку, когда звонил кто-то другой, как чувствовала себя не нужной — отжившей своё игрушкой, которой предстоит пылиться в чулане, хорошо если не с оторванной рукой или головой — и потерянной. Она не включала в комнате свет, на улице лил фиолетовый дождь, внезапно перешедший в фиолетовый снег. И она поняла, как — тяжесть и пустота, пустота и тяжесть — устала. Не найдя взглядом кресла, упала на пол, а по щекам текли фиолетовые слёзы...

— Оранжевый, — продолжил он.

Пару минут она молчала. Ей представились утро и её ярко-оранжевая футболка. Она шла босиком по берегу и была счастлива — волны лизали стопы влажными языками, она шла в новую жизнь.

— Пусть это будет радость, стремление к новому, надежда, — сказала уверенно.

— Теперь — голубой, — он растушевал воспоминания об оранжевом утре и стёр их.

Телефон молчал. Она проплакала несколько часов — маленькая слабость, которую позволила (никто не видел!), и решила позвонить сама. Долгое время трубку никто не брал. Затем кошачий голос ответил (из бездны!):

— Любимая. Я так скучал!

Она прервала на полуслове:

— Всё кончено.

И рассказала о нимфетке, которую её — бывший любимый (как противно теперь звучало это слово) — подцепил накануне, а потом хвалился в офисе — конечно, ей передали. И слова, резанувшие, оцарапавшие и до сих пор кровоточащие: «Я трахал

её так, что окна соседних домов выгнулись подсмотреть». Она рассказала всё. Спокойная, сильная, уверенная в себе — совсем не та, что рыдала несколько минут назад.

Голос на другом конце посерел и покрылся морщинами:

— Но откуда ты... А впрочем... Ты же видела: чувств нет, быт, в который ты меня затащила, убил их, поэтому...

Она не дала закончить. Как нашкодивший котёнок, он не посмел перебивать.

— Быт давно всё убил, только жить вместе — не романтика, это труд, каждодневное преодоление препятствий, сражение со стихией и окружающим миром спина к спине, а этого тебе не понять.

— Какие чувства отдадим голубому цветку? — повторил юноша. На этот раз она отреагировала без задержки:

— Свобода, независимость.

Как только она находила чувства-определения цветку, они накладывались на луч радуги и он — обновлённый, яркий — присоединялся к спектру.

— Теперь ты, — сказала, и тут же назвала цвет. — Синий.

— Корысть и злость, — отозвался юноша. — Они — плоть от плоти, без них нельзя.

Луч поменял окраску — словно его окунули в синюю краску — ослепительно яркая дуга, цепляющая взгляд и не отпускающая.

— Продолжим? — спросил он спутницу. Та кивнула. — Зелёный цвет.

Они были на побережье — глаза молодого человека изливались любовью (тогда она не чувствовала в этом ничего ядовитого) — он походил на её нынешнего спутника, но — более горделивый нос, более правильный профиль. Как увидела, поняла: пропала. А он придумал для неё сказку. Интересно, как он отыскал её, как отличил, как выбрал... Она не раз спрашивала, а он отшучивался шуткой: «У тебя такие длинные пальцы, это они восхитили меня...». После предыдущего разрыва она не была готова начинать «новую жизнь», но он не торопил — они гуляли, блуждали в старых развалинах, встречали рассвет и не могли отличить летучую мышь заката от несорванного поцелуя, и день за днём, от встречи к встрече, она привыкала к нему, сливалась, становилась единым целым. Вчера вечером они приехали на берег неприметного озера, любовались звёздами и всю ночь рассказывали сказки. А потом одновременно повернулись друг к другу, свет луны отразился в её глазах, в которых читалось...

Утром она, счастливая, шла босиком в оранжевой футболке. Волны лизали стопы влажными языками, она шла в новую жизнь, за новой надеждой.

— Зелёный — спокойствие, уверенность, — ответила она.

Старая радуга менялась — наливалась жизнью, — оживала.

— А теперь — красный, — сказал он.

Она опустила взгляд. Человек, поллюбивший её длинные пальцы, позже нашёл существо (она не сомневалась, что — прекрасное) с длинными — длиннее, чем у неё — ресницами. Но она стерпела — зарубцевавшееся сердце не позволило цветку боли расцвести с убивающей страстью — как бывало прежде, и хотя фиолетовые слёзы прошли горькими дождями, желание жить не пропадало. Но почему-то потянуло в детство. Она хотела найти детские книжки, вернуться в невинно-позабитый мир... Что было дальше, она плохо помнила... Помутнение рассудка, острая вспышка, а потом — осознание того, что она стала не-такой-как-все. Ей было страшно — она поняла, что может читать мысли окружающих, пробираться к ним в душу. Вскоре её отыскал юноша — нынешний спутник — мысли которого она не могла прочесть. Он научил её жить в этом мире. Он стал проводником, её частью и волшебной палочкой. А потому...

— А как думаешь ты? — спросила она, искоса глядя на него.

Он задумался, потом скользнул взглядом и ответил:

— Думаю, это и так понятно.

Но, даже не произнося ничего вслух, спутники поняли: дуга радуги обновилась — они зарядили её самым прекрасным чувством, которое могут испытывать люди.

Оставался последний цвет.

— Я думаю, будет правильно, если ты выберешь чувство сам, — сказала девушка.

Юноша кивнул. Ветер забрался в его волосы, создавая причудливые вихры. Он вспомнил подзабытую историю, случившуюся на этом же поле, когда ветер, обернувшись девушкой — в легендах её называли Алёной — уснул в объятьях человека, а утром, устыдившись, улетел от него навсегда.

— Мне кажется, — начал он после небольшой паузы, — мы упустили одно важное чувство. Это... творчество и... ветренность.

— Ты думаешь, они сочетаются?

— Только так они и сочетаются, — усмехнулся он.

Тут же последняя дуга радуги, вспыхнув, засияла ярким жёлтым цветом.

Старая радуга казалась помолодевшей на несколько веков.

— Вы спасли не только меня, — вернулся в сознание голос. — Вы дали шанс тем, кто придёт сюда после вас — людям, не разучившимся чувствовать. Спасибо.

И они отправились в обратный путь.

\* \* \*

Что-то изменилось. Спутники озирались, пытаясь понять, что именно, пока...

— Кони, — сказал он. — Они...

По небу, разрывая ватные облака, путаясь в них, бежали разноцветные кони. Они играли всеми цветами радуги; казалось, выпрямилась горделивая осанка, будто они в одночасье поняли, что — есть конец пути, есть цель.

— Давай напоим их, — вдруг предложила она и почувствовала, как наострились уши пробегающих животных. — Они так долго бегут...

Доброта и участие, разлившиеся над полем, наложились на спектр радуги. Было воссоздано новое чувство. Возник восьмой луч...

Потерянный ветер, как усталый щенок, улёгся у ног. Он немного поскуливал, обдавая прохладой, но это было умиротворённое скуление. Так бывает, когда слёзы подходят к глазам от счастья... Юноша вспоминал. Он не помнил, когда это было и где, и с ним ли... Нет, это точно было с ним.

Они шли навстречу друг другу в центре большого города. Он безнадёжно опаздывал — солнце жгло, и мокрые волосы хлестали по лбу. Вместо того чтобы приехать на встречу в назначенное время, он сел на идущий в противоположную сторону трамвай — хотел прокатиться до вокзалов, а оттуда на «маршрутке» на свидание. Но как только двери вагона сомкнулись, мобильный телефон завибрировал — девушка ждала его. О, как бесконечно длилось время до следующей остановки, как судорожно он ловил машину в обратную сторону...

Опоздав на полчаса, он, на глазах у спящей толпы, упал на колени, а она... отвернулась: «Не глуми...» Да, между ними всё давно кончено, но то сумасшествие, которое ещё жило в нём, было сильнее разума, и встреча от встречи, разговор от разговора, они становились более чужими. Это было одно из последних свиданий. Не говоря ни слова, они вышли к троллейбусной остановке и поехали на окраину города. Затем шли по маленькой, мощёной белыми плитками тропинке — между домами. Солнце как будто издевалось над молодым человеком, пот стекал по лицу, а в горле застыло скуление... Подсознательно он понимал, что, возможно, последний раз видит её рядом, последний раз у них *общее* дело... И молил время притормозить, просил дорожку не кончатся, потому что знал: в конце пути их ждут разные дороги... Перед расставанием он спросил: «Я... могу тебя обнять на прощание?..» «Обними», — безучастно ответила, не сдвинувшись с места. И тогда он понял, что она давным-давно шла по другой дороге, что их совместный путь придумал он сам, что её на самом деле и не было рядом. И он отвернулся, чтобы побороть предательский скулёж...

Стригунок потёрся мокрым носом о ладонь. Он не отбил от табуна, просто решил немного времени провести с двуногими,

которые так редко забредали сюда. Ножки-палочки дрожали, но в глазах читалось доверие.

Девушка повернулась к спутнику и ткнувшемуся ему в ладонь стригунку:

— Разве среди людей нет тех, кто хоть немного похож на нас — хотя бы ощущениями или... мирами?

— Есть, — он усмехнулся. — Это люди, которые считают или называют себя творческими, хотя это определение не верно. Они — творческие люди — ходят по границам миров. Того, в котором обитает их тело и иногда залетает душа, и того, где живёт дух. Они ходят по тонкому краю, острому и болезненному, и воспринимают окружающее совсем не так, как другие люди. Для них это опасная грань, всегда есть риск потерять равновесие и сорваться — неважно в какую сторону. Вот представь — ты идёшь по канату, у тебя разведены руки. И вдруг ты получаешь новое ощущение. Так вот, оно — как груз или предмет, который моментально оказывается в одной из рук и, естественно, начинает перевешивать. И ты — отважный канатоходец — невольно теряешь равновесие и начинаешь крениться к одному краю. И тут важно получить ощущение с другой стороны, чтобы появился груз и в другой руке, чтобы ты сумел удержать равновесие. Иначе — финал. Ты или скатишься туда, откуда нет возврата, или погрязнешь в пучине будней, став обычным человеком. За всё приходится платить. Здесь ты платишь точкой невозвращения.

Он замолчал. И только когда тишина стала давить на плечи, продолжил:

— А кто мы? Потерявшие мечту, идущие за непонятной целью, как те кони, и никогда, почти никогда не доходящие? Может быть, мы кажемся серыми, ненужными кляксами на людском покрывале земли. Может быть, мы в детстве были, как этот стригунок — оранжевыми. Может быть, — голос стал растворяться в шорохах вечернего поля, — у нас было больше чувств, и радуга внутри тебя и меня, — она была ярче и насыщеннее, она была... настоящей?

Но ответы не прозвучали — спутники могли только задать вопросы — себе; сдвинуть сковывающий груз, размять застывшие чувства. И они пошли прочь от конца света. Каждый — со своей проблемой, каждый с ускользающей целью — найти себя! — и неверием, что её удастся достичь. Перед тем, как покинуть поле, девушка оглянулась на Старую радугу, сиявшую восемью яркими цветами, и — с непонятным облегчением — поняла, что позабыть эти цвета, эти чувства уже не удастся. В этот момент стригунок, возвращающийся в табун, повернул лобастую голову и тряхнул едва намечающейся гривой. Ей предстояло вернуться в мир людей.

## Кот Фёдор и форель

Однажды кот Фёдор съел батон колбасы и подумал:

— Ну вот, червячка заморил, что дальше-то?

И зевнул, привычно распахнув пасть (что-что, а это он делал превосходно).

Попробовал закрыть — чувствует, в пасти что-то лежит. А это сердобольная старушка — баба Нина — вынесла рыбки любимцу, которого старательно защищала от холода и голода, верных спутников уличной жизни. Так старательно, что пенсию делила на две части. Одну — для себя, другую — для Фёдора. Так же они с покойным мужем поступали, чтобы не ограничиваться в тратах и увлечениях.

А когда супруга не стало, переместила любовь и заботу на дворового кота, толстого, как боцман на судне. Только рыжего. Кот любил вместе со старушками сидеть на лавочке, подставляя необъятные бока солнцу, иногда принимая участие в их, старушечьих, разговорах. Те, в свою очередь, чтобы угодить коту, едва ли не соревновались — кто в течение месяца лучше удовлетворит гастрономические притязания любимца и — по совместительству — единственного мужчины в их дружном коллективе.

Впрочем, мужчиной Фёдора можно было назвать с известной осторожностью, поскольку он был кастрирован в незапамятную пору кошачьего детства, когда гордо именовался домашним котом Барсиком. Но, познав жестокую правду уличной жизни, поменял кличку на более подходящую: «Фёдор».

— Кушай, Фёдор Иванович, — приговаривала Нина. — А то, гляжу, ты у меня схуднул — ошейник стал проворачиваться. А куда это годится, милый? Раньше-то сидел как литой.

— М-ррр-няю, — отвечал жующий Фёдор, силясь приподнять лапу, чтобы решительно потребовать добавки. Как говорится, одной рыбкой сыт не будешь. Тем более какой-то — фуууу! — путассу.

— Сегодня в магазин форель завезли, — продолжала старушка. Уши кота наострились. — Купила себе кусочек, пожарю вечером.

Это была роковая ошибка.

Впрочем, ни о чём не подозревающая старушка, несколько не смущаясь укоризненного взгляда кота, добавила:

— Тебя, милый, угощу, не переживай. — И достала ещё одну путассиную тушку.

Только настроение и аппетит Фёдора были безнадежно испорчены. «Как это так, — думал кот. — Упомянуть о форели — самой форели! — и... не дать. Это же обман. Как они там, на лавочках, о старичках говорят: поматросить и бросить? Клавка ещё вчера причитала: «Я ему стопку, а он, нахал, тут же на боковую, а то, что я женщина, пусть и восьмидесяти шести лет от роду, — но ведь не зарубцевалось же ещё!». А эта? Я ей ем её путассу, а она мне вместо форели — фигушки... И даже хуже: жарить её будет! Разве можно жареной рыбой лакомиться?! Это как мышку на неделю закопать, а потом вспомнить, что не съеденная лежит! Ну да, кушать можно, но вкус-то пропадает! Нет, так жить нельзя. Вот не буду год... нет, неделю... ну хотя бы день... ничего у Нинуси не есть, пусть охает и кудахчет. Буду Клавке песни петь. Из солидарности. Решено». И недовольно чуть заметно задвигал ожиревшим хвостом.

Но от ещё трёх путассу и пары горстей сухого корма (чтобы лучше переварилось) всё-таки не отказался.

2013

---

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Спасение чудом. Вступление Платона Беседина</i> .....	3
Глаза зверька.....	5
Следы на песке .....	22
Свидание .....	43
Радуга .....	48
Кот Фёдор и форель.....	58

---

*Автор благодарит: генерального директора Холдинга «Вест-Консалтинг» Евгения Степанова, руководителей Союза литераторов России Дмитрия Цесельчука и Нину Давыдову, моих родителей Владимира и Марину Коркуновых, Платона Беседина, Ольгу Туркину, Катю Рубину, Настю Солдаткину, Катю Селиванову, Маргариту Сальникову, Оксану Фёдорову, Александру Дорогову, Катерину Федулеву и кота Фёдора из посёлка Удельная.*

*А также всех, кто помогал, советовал, вдохновлял, просто был рядом!*

**Владимир КОРКУНОВ, 9 июня 2013 года**

Литературно-художественное издание

СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ  
Библиотека альманаха «СЛОВЕСНОСТЬ»

**КОРКУНОВ Владимир Владимирович**  
**ГЛАЗА ЗВЕРЬКА**  
Сборник рассказов

Книжная серия  
«Визитная карточка литератора»

Главный редактор издательства *Евгений Степанов*  
Литературный редактор *Марина Коркунова*  
Художественный редактор *Ольга Туркина*  
Обложка *Катя Рубина*  
Верстка *Василий Манулов*

Бумага офсетная  
Гарнитура Minion Pro  
Тираж 500 экземпляров.  
Сдано в набор 22.04.2013  
Подписано в печать 02.07.2013

Издательство и типография  
«Вест-Консалтинг»  
109378, г. Москва, Есенинский бульвар,  
д. 1/26, корп. 1, офис 34.  
Тел. (495) 978 62 75